

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 19

АННА КАРЕНИНА

ЧАСТИ 5–8

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
19. Анна Каренина. Части 5-8**

«Библиотечный фонд»

1873-1877

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 19. Анна Каренина. Части 5-8
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1873-1877 — (Весь
Толстой в один клик)

Содержание

Лев Николаевич	5
Предисловие к электронному изданию	6
АННА КАРЕНИНА	9
АННА КАРЕНИНА	10
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.	10
I.	10
II	13
III.	16
IV.	18
V.	21
VI.	23
VII.	24
VIII.	26
IX.	28
X.	30
XI.	31
XII.	34
XIII.	35
XIV.	36
XV.	38
XVI.	41
XVII.	42
XVIII.	45
XIX.	46
XX.	48
XXI.	52
XXII.	54
XXIII.	56
XXIV.	58
XXV.	60
XXVI.	62
XXVII.	64
XXVIII.	66
XXIX.	68
XXX.	71
XXXI.	72
XXXII.	74
XXXIII.	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

**Лев Николаевич
Толстой**
**Полное собрание сочинений. Том
19. Анна Каренина. Части 5–8.**

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой
в один клик»](#)

Организаторы: [Государственный музей Л.Н. Толстого](#)
[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)
[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 19-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)
Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

LÉON TOLSTOÏ

O E U V R E S C O M P L È T E S

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE

de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:

K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZI, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,

N. PIKSANOFF, N. BODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY,

A. TOLSTAÏA et M. TSIAYLOVSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:

V. BONTCH-BROUÏEVITCH, J. LOUPPOL et M. SAVELEFF

PREMIÈRE SÉRIE

O E U V R E S

TOME

19

É D I T I O N D'É T A T

M O S C O U — 1 9 3 5

Л. Н. Т О Л С Т О Й
П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУЛЯИ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. К. ВИКСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, П. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЯЗНЕВСКОГО, А. Л. ТОЛСТОЙ,
М. А. ЦВЕТКОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, П. К. ЛУППОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т О М
19

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1 9 3 5

Перепечатка разрешается безвозмездно. .
Reproduction libre pour tous les pays.

АННА КАРЕНИНА

РЕДАКТОРЫ:
П. Н. САКУЛИН
Н. К. ГУДЗИЙ

АННА КАРЕНИНА
роман в восьми частях (1873—1877)
части пятая – восьмая

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

I.

Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось пять недель, было невозможно, так как половина приданого не могла успеть к этому времени; но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны.

Левин продолжал находиться всё в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что всё делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни; он предоставлял решение этого другим, зная, что всё будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на всё, что ему предлагали. Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьич посоветовал ехать за границу. Он на всё был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей однако считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было всё равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там всё, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много.

– Однако послушай, – сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он всё устроил для приезда молодых, – есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?

– Нет. А что?

– Без этого нельзя венчать.

– Ай, ай, ай! – вскрикнул Левин. – Я ведь, кажется, уже лет девять не говел. Я и не подумал.

– Хорош! – смеясь сказал Степан Аркадьич, – а меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть.

– Когда же? Четыре дня осталось.

Степан Аркадьич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему, размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможной. Теперь, в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии делать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство не говея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно.

– Да и что тебе стóит – два дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь.

Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до семнадцати лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на всё это как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов; но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы всё это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во всё время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее.

Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайною живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове.

Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди.

В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей.

Молодой дьякон, с двумя резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником, встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: «Господи помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и как потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. «Она взяла потом мою руку и рассматривала линии: – у тебя славная рука, сказала она». И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. – «Да, теперь скоро кончится, – думал он. – Нет, кажется, опять сначала, – подумал он, прислушиваясь к молитвам. – Нет, кончается; вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом».

Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроится», подумал он и пошел к

амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидел священника. Старичок-священник, с редкою полуседою бородой, с усталыми, добрыми глазами, стоял у аналая и перелистывал тревник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину.

– Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь, – сказал он, указывая на Распятие. – Веруете ли вы во всё то, чему учит нас Святая Апостольская Церковь? – продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под эпитрахиль.

– Я сомневался, я сомневаюсь во всем, – проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.

Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал:

– Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете? – прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.

– Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении.

– Сомнение свойственно слабости человеческой, – повторил те же слова священник. – В чем же преимущественно вы сомневаетесь?

– Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога, – невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления.

– Какие же могут быть сомнения в существовании Бога? – с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он.

Левин молчал.

– Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творения Его? – продолжал священник быстрым, привычным говором. – Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облек землю в красоту ее? Как же без Творца? – сказал он, вопросительно взглянув на Левина.

Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.

– Я не знаю, – сказал он.

– Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил всё? – с веселым недоумением сказал священник.

– Я не понимаю ничего, – сказал Левин, краснея и чувствуя, что слова его глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении.

– Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите Его. Молитесь Богу, – повторил он поспешно.

Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись.

– Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? – прибавил он с улыбкой. – Прекрасная девица!

– Да, – краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» подумал он.

И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему:

– Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание можете дать вы вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? – сказал он с кроткою укоризной. – Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли?

Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: «папаша! кто сотворил всё, что прельщает меня в этом мире, – землю, воды, солнце, цветы, травы?» Неужели вы скажете ему: «я не знаю»? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: «что ждет меня в загробной жизни?» Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! – сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами.

Левин ничего не отвечал теперь – не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов, а когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать.

– Вы вступаете в пору жизни, – продолжал священник, – когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтоб он по своей благодати помог вам и помиловал, – заключил он. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо»... И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его.

Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить.

«Разумеется, не теперь, – думал Левин, – но когда-нибудь после». Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других и за которое он упрекал приятеля своего Свяжского.

Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаке, которую учили скакать через обруч и которая, поняв наконец и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.

II

В день свадьбы Левин, по обычаю (на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками: Сергей Иванович, Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе, и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор.

– Ведь вот, – говорил Катавасов, по привычке, приобретенной на кафедре, растягивая свои слова, – какой был способный малый наш приятель Константин Дмитрич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет. И науку любил тогда, по выходе из университета, и интересы имел человеческие; теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтоб обманывать себя, и другая – чтоб оправдывать этот обман.

– Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал, – сказал Сергей Иванович.

– Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные – содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа.

– Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь! – сказал Левин. – Пожалуйста, позовите меня на свадьбу.

– Я влюблен уже.

– Да, в каракатицу. Ты знаешь, – обратился Левин к брату, – Михаил Семеныч пишет сочинение о питании и...

– Ну, уж не путайте! Это всё равно, о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу.

– Но она не помешает вам любить жену.

– Она-то не помешает, да жена помешает.

– Отчего же?

– А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту, – ну посмотрите!

– А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя, – сказал Чириков.

– Ну, уж вы их без меня возьмете.

– Вот и правда, – сказал Сергей Иванович. – Да и вперед простись с медвежьей охотой, – жена не пустит!

Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей.

– А ведь всё-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота, – сказал Чириков.

Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал.

– Недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью, – сказал Сергей Иванович. – Как ни будь счастлив, всё-таки жаль свободы.

– А признайтесь, есть это чувство, как у Гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть?

– Наверно есть, но не признается! – сказал Катавасов и громко захохотал.

– Что же, окошко открыто... Поедем сейчас в Тверь! Одна медведица, на берлогу можно итти. Право, поедем на пятичасовом! А тут как хотят, – сказал улыбаясь Чириков.

– Ну вот ей-Богу, – улыбаясь сказал Левин, – что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе!

– Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете, – сказал Катавасов. – Погодите, как разберетесь немножко, то найдете!

– Нет, я бы чувствовал хотя немного, что, кроме своего чувства (он не хотел сказать при нем – любви)... и счастья, всё-таки жаль потерять свободу... Напротив, я этой-то потере свободы и рад.

– Плохо! Безнадежный субъект! – сказал Катавасов. – Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечтаний сбылась. И это уж будет такое счастье, какое не бывало на земле!

Вскоре после обеда гости уехали, чтоб успеть переодеться к свадьбе.

Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя: есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили? Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы, – вот это счастье!»

«Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем.

«Что как она не любит меня? Что как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что если она сама не знает того, что делает? – спрашивал он себя. – Она может опомниться и, только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не всё сказала ему.

Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя! – сказал он себе с отчаянием. – Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз: мы свободны, и не лучше ли остановиться? Всё лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность!!» С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней.

Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распорядилась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу.

– Ах! – вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. – Как ты, как же вы (до этого последнего дня она говорила ему то «ты», то «вы»)? Вот не ждала! А я разбираю мои девичьи платья, кому какое...

– А! это очень хорошо! – сказал он, мрачно глядя на девушку.

– Уйди, Дуняша, я позову тогда, – сказала Кити. – Что с тобой? – спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх.

– Кити! я мучаюсь. Я не могу один мучаться, – сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь пред ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему всё-таки нужно было, чтоб она сама разуверила его. – Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это всё можно уничтожить и поправить.

– Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?

– То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если... лучше скажи, – говорил он, не глядя на нее. – Я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят; всё лучше, чем несчастье... Всё лучше теперь, пока есть время...

– Я не понимаю, – испуганно отвечала она, – то есть что ты хочешь отказаться... что не надо?

– Да, если ты не любишь меня.

– Ты с ума сошел! – вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платья с кресла, пересела ближе к нему. – Что ты думаешь? скажи всё.

– Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?

– Боже мой! что же я могу?... – сказала она и заплакала.

– Ах, что я сделал! – вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки.

Когда княгиня через пять минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже, отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что всё, что он любит, всё хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое.

– Как ты не понимаешь? Она брюнетка, и ей не будет идти... У меня это всё рассчитано.

Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет.

– Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты еще ее расстраиваешь своими глупостями, – сказала она ему. – Убирайся, убирайся, любезный.

Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат, Дарья Александровна и Степан Аркадьич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще захватить

домой, с тем чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был везти образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад... Вообще соображений, весьма сложных, было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого.

Из благословенья образом ничего не вышло. Степан Аркадьич стал в комически-торжественную позу рядом с женою; взял образ и, велел Левину кланяться в землю, благословил его с доброю и насмешливою улыбкой и поцеловал его троекратно; то же сделала и Дарья Александровна и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предназначениях движения экипажей.

– Ну, так вот что мы сделаем: ты поезжай в нашей карете за ним, а Сергей Иванович уже если бы был так добр захватить, а потом послать.

– Что же, я очень рад.

– А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? – сказал Степан Аркадьич.

– Отправлены, – отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.

III.

Толпа народа, в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки.

Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспреданно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари – всё было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе налево. И родные и посторонние уже прошли чрез все фазы ожидания.

Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором.

Протодьякон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспреданно высылал то дьячка, то дьякона узнать, не приехал ли жених, и сам, в лиловой рясе и шитом поясе, чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец одна из дам, взглянув на часы, сказала: «однако это странно!» и все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженной матерью и сестрой Львовой стояла в зале Щербацкого дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь.

и хоругви вверху у клиросовъ, и ступеньки амвона, и старья почернѣвшія книги, и подрясники, и ставари, все было залито свѣтомъ. На правой сторонѣ теплой церкви, въ толпѣ фраковъ и бѣлыхъ галстуконъ, мундировъ и штофовъ, бархата, атласа, волосъ, цвѣговъ, обнаженныхъ плечъ и рукъ, и высокихъ перчатокъ, шелъ сдержанный и оживленный говоръ странно-отдававшійся въ высокомъ куполѣ. Невѣста въ бѣломъ платьѣ и длинномъ вуалѣ и вѣнѣ стояла у рѣшетчатого окна, окруженная толпою дамъ и, разсѣянно улыбаясь, безпрестанно оглядывалась на сходную дверь. Каждый разъ какъ раздавался пискъ отворяемой двери, говоръ въ толпѣ затихалъ, и всѣ оглядывались ожидая ѣдѣть входящаго жениха. Но дверь уже отворялась болѣе чѣмъ десять разъ, и каждый разъ это былъ или запоздавшій гость, присоединившійся къ кружку родныхъ, или зрительница, обмывавшая или умилостивившая полицейскаго офицера, присоединявшаяся къ чужой толпѣ нагѣво. И родные и посторонніе уже прошли чрезъ всѣ фазы ожиданія.

Невѣста не дождавшись уведомленія о приѣздѣ жениха въ церковь, приѣхала, противно обычаю, первая. Неправильность эта прошла бы незамѣченною, еслибы женихъ приѣхалъ вслѣдъ за нею, но прошло полчаса жениха не было.

Сначала полагали, что женихъ сію минуту приѣдетъ, не приписывая никакого значенія это за поздавію. Потомъ стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о томъ, что не случилось ли чего-нибудь. Потомъ это опозданіе стало уже неловко, и родные и гости старались дѣлать видъ, что они не думаютъ о женихѣ и

Страница сверстанного листа с текстом «Анны Карениной», печатавшимся в отдельном издании 1878 г., с исправлениями Л. Н. Толстого

Размер подлинника

Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Но в коридоре не видно

было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьичу.

– Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении! – говорил он.

– Да, глупо, – подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь. – Но успокойся, сейчас привезут.

– Нет, как же! – со сдержанным бешенством говорил Левин. – И эти дурацкие открытые жилеты! Невозможно! – говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки. – И что, как вещи увезли уже на железную дорогу! – вскрикнул он с отчаянием.

– Тогда мою наденешь.

– И давно бы так надо.

– Нехорошо быть смешным... Погоди! *образуется*.

Дело было в том, что когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и всё, что нужно было.

– А рубашка! – вскрикнул Левин.

– Рубашка на вас, – с спокойной улыбкой ответил Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание всё уложить и свезти к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив всё, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Послать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: всё заперто – воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку; она была невозможно широка и коротка. Послали наконец к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити, и что она может теперь думать.

Наконец виноватый Кузьма, насилу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой.

– Только застал. Уж на ломового поднимали, – сказал Кузьма.

Через три минуты, не глядя на часы, чтобы не растревлять раны, Левин бегом бежал по коридору.

– Уж этим не поможешь, – говорил Степан Аркадьич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. – *Образуется, образуется...* – говорю тебе.

IV.

– Приехали! – Вот он! – Который? – Помоложе-то, что ль? – А она-то, матушка, ни жива, ни мертва! – заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.

Степан Аркадьич рассказал жене причину замедления, и гости улыбаясь перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал; он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту.

Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно; но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею и поразительно тонкую талию, и ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь, – не потому, чтоб эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому, что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ были всё тем же ее особенным выражением невинной правдивости.

– Я думала уже, что ты хотел бежать, – сказала она и улыбнулась ему.

– Так глупо, что со мной случилось, совестно говорить! – сказал он краснея и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу.

– Хороша твоя история с рубашкой! – сказал Сергей Иваныч, покачивая головой и улыбаясь.

– Да, да, – отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят.

– Ну, Костя, теперь надо решить, – сказал Степан Аркадьич с притворно-испуганным видом, – важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают: обожженные ли свечи зажечь или необожженные? Разница десять рублей, – при-
совокупил он, собирая губы в улыбку. – Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия.

Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться.

– Так как же? необожженные или обожженные? вот вопрос.

– Да, да! необожженные.

– Ну, я очень рад. Вопрос решен! – сказал Степан Аркадьич улыбаясь. – Однако как глупеют люди в этом положении, – сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте.

– Смотри, Кити, первая стань на ковер, – сказала графиня Нордстон подходя. – Хороши вы! – обратилась она к Левину.

– Что, не страшно? – сказала Марья Дмитриевна, старая тетка.

– Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись! – сказала сестра Кити, Львова, и, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкою поправила ей цветы на голове.

Долли подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась.

Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна.

Между тем церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не слушал того, что сказал священник.

– Берите за руку невесту и ведите, – сказал шафер Левину.

Долго Левин не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить, – потому что он брал всё не тою рукой или не за ту руку, – когда он понял наконец, что надо было правой рукой, не переменяя положения, взять ее за правую же руку. Когда он наконец взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналая. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска.

Старичок-священник, в камилавке, с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналая.

Степан Аркадьич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад.

Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новобрачным. Священник был тот же самый, который исповедывал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадило, медленно отошел от них.

«Неужели это правда?» подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, под-

нимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди, и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу.

Вся суета рубашки, опоздания, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение – всё вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно.

Красивый рослый протодьякон в серебряном стихаре, со стоящими по сторонам расчесанными завитыми кудрями, бойко выступил вперед и, привычным жестом приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника.

«Бла-го-сло-ви вла-дыко!» медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки.

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков», смиренно и певуче ответил старичок-священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер полный аккорд невидимого клира.

Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о Синоде, о Государе; молились и о ныне обручающихся рабе Божиим Константине и Екатерине.

«О еже ниспослатися им любви совершенней, мирней и помощи, Господу помолимся», как бы дышала вся церковь голосом протодьякона.

Левин слушал слова, и они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи? – думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю? что я могу в этом страшном деле, – думал он, – без помощи? Именно помощи мне нужно теперь».

Когда дьякон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой:

«Боже вечный, расстоящийся собравый в соединение, – читал он кротким певучим голосом, – и союз любви положивый им неразрушимый; благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый: Сам благослови и рабы Твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков». – «А-аминь», опять разлился в воздухе невидимый хор.

«Расстоящийся собравый в соединение и союз любви положивый» – как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту! – думал Левин. – Чувствует ли она то же, что я?»

И, оглянувшись, он встретил ее взгляд.

И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это было неправда; она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их: так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и всё более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжение всех этих шести недель радовало и мучало ее. В душе ее в тот день, как она в своем коричневом платье в зале Арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, – в душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же продолжалась старая. Эти шесть недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывало ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старою жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему: к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Ни думать, ни желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком; но этой новой жизни еще

не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание – страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание, и неизвестность, и раскаяние в отречении от прежней жизни – всё кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности; но страшно или не страшно, – оно уже совершилось еще шесть недель тому назад в ее душе; теперь же только освящалось то, что давно уже сделалось в ее душе.

Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб Божий Константин рабе Божией Екатерине». И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своею слабостью палец Кити, священник проговорил то же.

Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шопотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое; опять они запутались и два раза передавали кольцо из руки в руку, и всё-таки выходило не то, что требовалось.

Долли, Чириков и Степан Аркадьич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шопот и улыбки, но торжественно-умилненное выражение на лицах обручаемых не изменилось; напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которою Степан Аркадьич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их.

«Ты бо изначально создал еси мужеский пол и женский, – читал священник вслед за переменной колец, – и от Тебе сочетавается мужу жена, в помощь и в восприятие рода человека. Сам убо, Господи Боже наш, пославый истину на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя отцы наша, в коемждо роде и роде, избранныя Твоя: призри на раба Твоего Константина и на рабу Твою Екатерину и утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви»....

Левин чувствовал всё более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что всё это было ребячество и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним; в груди его всё выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза.

V.

В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освещении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично тихий говор, который преимущественно затевали мужчины, между тем как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священнодействия.

В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы.

– Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу? – говорила Корсунская.

– С ее цветом лица одно спасенье... – отвечала Друбецкая. – Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу. Это купечество...

– Красивее. Я тоже венчалась вечером, – отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь всё другое.

– Говорят, что кто больше десяти раз бывает шафером, тот не женится; я хотел десятый быть, чтобы застраховать себя, но место было занято, – говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды.

Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку.

Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтоб она была счастлива.

– Не надо было надевать шиньона, – отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. – Я не люблю этот фаст.

Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно.

– Брат ваш может гордиться. Она чудо как мила. Я думаю, вам завидно?

– Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна, – отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение.

Степан Аркадьич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе.

– Надо поправить веночек, – отвечала она, не слушая его.

– Как жаль, что она так подурнела, – говорила графиня Нордстон Львовой. – А всё-таки он не стодит ее пальца. Не правда ли?

– Нет, он мне очень нравится. Не оттого, что он будущий beau-frère,¹ – отвечала Львова. – И как он хорошо себя держит! А это так трудно держать себя хорошо в этом положении – не быть смешным. А он не смешон, не натянут, он видно, что тронут.

– Кажется, вы ждали этого?

– Почти. Она всегда его любила.

– Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити.

– Всё равно, – отвечала Львова, – мы все покорные жены, это у нас в породе.

– А я так нарочно первая стала с Васильем. А вы, Долли?

Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина; возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьича, забывала всё настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей; она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе которой она недавно слышала. И она также чистая стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? – Ужасно странно, – проговорила она.

Не одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия; посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты и с досадой не отвечали и часто не слышали речей равнодушных мужчин, делавших шуточные или посторонние замечания.

– Что же так заплакана? Или поневоле идет?

– Чего же поневоле за такого молодца? Князь, что ли?

– А это сестра в белом атласе? Ну, слушай, как рявкнет дьякон: «да боится своего мужа».

– Чудовские?

– Синодальные.

– Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в вотчину. Богат страсть, говорят. Затем и выдали.

– Нет, парочка хороша.

¹ [Шурин,]

– А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карнарины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором... Так, и опять этак.

– Экая милочка невеста-то, как овечка убранная! А как ни говорите, жалко нашу сестру. Так говорилося в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.

VI.

Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель постлал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собой, и священник, оборотившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как ни часто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний и споров о том, что, по наблюдению одних, он стал прежде, по мнению других, оба вместе.

После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучащих ответов началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда всё больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания.

Молились «о еже податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о еже возвеселитися им видением сынов и дочерей». Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и «сего ради оставит человек отца и мать и прилепится к жене, будет два в плоть едину» и что «тайна сия велика есть»; просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтоб они видели сыны сынов своих. «Всё это было прекрасно, – думала Кити, слушая эти слова, – всё это и не может быть иначе», и улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице.

– Наденьте совсем! – послышались советы, когда священник надел на них венцы, и Щербацкий, дрожа рукою в трехпалочной перчатке, держал высоко венец над ее головой.

– Наденьте! – прошептала она улыбаясь.

Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице; и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало, так же как и ей, светло и весело.

Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодьякона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением постороннею публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой, и стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исаие ликуй», вокруг аналая. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и, радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику и дьякону, так же как и ему, хотелось улыбаться.

Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Кити, и никогда он не видал ее до сих пор такую. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: «поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа» и взял у них из рук свечи.

Левин поцеловал с осторожностью ее улыбающиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные и робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно.

После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню.

VII.

Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Европе. Они объездили Венецию, Рим, Неаполь и только что приехали в небольшой итальянский город, где хотели поселиться на некоторое время.

Красавец обер-кельнер с начинавшимся от шеи пробором в густых напомаженных волосах, во фраке и с широкою белою батистовою грудью рубашки, со связкой брелок над округленным брюшком, заложив руки в карманы, презрительно прищурившись, строго отвечал что-то остановившемуся господину. Услыхав с другой стороны подъезда шаги, всходившие на лестницу, обер-кельнер обернулся и, увидав русского графа, занимавшего у них лучшие комнаты, почтительно вынул руки из карманов и, наклонившись, объяснил, что курьер был и что дело с наймом палатцо состоялось. Главный управляющий готов подписать условие.

– А! Я очень рад, – сказал Вронский. – А госпожа дома или нет?

– Они выходили гулять, но теперь вернулись, – отвечал кельнер.

Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти.

– Господин этот Русский и спрашивал про вас, – сказал обер-кельнер.

Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых, и желания найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина; и в одно и то же время у обоих просветлели глаза.

– Голенищев!

– Вронский!

Действительно, это был Голенищев, товарищ Вронского по Пажескому Корпусу. Голенищев в корпусе принадлежал к либеральной партии, из корпуса вышел гражданским чином и нигде не служил. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз.

При этой встрече Вронский понял, что Голенищев избрал какую-то высокоумную либеральную деятельность и вследствие этого хотел презирать деятельность и звание Вронского. Поэтому Вронский при встрече с Голенищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям и смысл которого был таков: «вам может нравиться или не нравиться мой образ жизни, но мне это совершенно всё равно: вы должны уважать меня, если хотите меня знать». Голенищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского. Эта встреча, казалось бы, еще больше должна была разобщить их. Теперь же они просияли и вскрикнули от радости, узнав друг друга. Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Голенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно. Он забыл неприятное впечатление последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева.

– Как я рад тебя встретить! – сказал Вронский, выставляя дружелюбною улыбкой свои крепкие белые зубы.

– А я слышу: Вронский, но который – не знал. Очень, очень рад!

– Войдем же. Ну, что ты делаешь?

– Я уже второй год живу здесь. Работаю.

– А! – с участием сказал Вронский. – Войдем же.

И по обычной привычке Русских, вместо того чтоб именно по-русски сказать то, что он хотел скрыть от слуг, заговорил по-французски.

– Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду, – по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Голенищева.

– А! Я и не знал (хотя он и знал), – равнодушно отвечал Голенищев. – Ты давно приехал? – прибавил он.

– Я? четвертый день, – ответил Вронский, еще раз внимательно вглядываясь в лицо товарища.

«Да, он порядочный человек и смотрит на дело как должно, – сказал себе Вронский, поняв значение выражения лица Голенищева и перемены разговора. – Можно познакомить его с Анной, он смотрит как должно».

Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношения к Анне, и большею частью встречал в мужчинах *какое должно* понимание. Но если б его спросили и спросили тех, которые понимали «как должно», в чем состояло это понимание, и он и они были бы в большом затруднении.

В сущности, понимавшие, по мнению Вронского, «как должно» никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов, со всех сторон окружающих жизнь, – держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают и даже одобряют его, но считают неуместным и лишним объяснять всё это.

Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких, и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так, как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости.

Он не знал прежде Анны и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которою она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева, и эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на добродушно-веселую, энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастье мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически-веселой и счастливой.

– Он в гиде есть, – сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский. – Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи.

– Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще раз взглянем, – сказал Вронский, обращаясь к Анне.

– Очень рада, я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко? – сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла ее лицо.

Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел.

Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом.

– Нет, не очень, – сказал он.

И ей показалось, что она всё поняла, главное то, что он доволен ею; и, улыбнувшись ему, она быстрою походкой вышла из двери.

Приятель взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Голенищев, очевидно любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же.

– Так вот как, – начал Вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор. – Так ты поселился здесь? Так ты всё занимаешься тем же? – продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Голенищев писал что-то...

– Да, я пишу вторую часть *Двух Начал*, – сказал Голенищев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе, – то есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но подготавливаю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы. У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, – начал он длинное, горячее объяснение.

Вронскому было сначала неловко за то, что он не знал и первой статьи о *Двух Началах*, про которую ему говорил автор как про что-то известное. Но потом, когда Голенищев стал излагать свои мысли и Вронский мог следить за ним, то, и не зная *Двух Начал*, он не без интереса слушал его, так как Голенищев говорил хорошо. Но Вронского удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Голенищев говорил о занимавшем его предмете. Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем поспешнее он возражал мнимым противникам, и тем тревожнее и оскорбленнее становилось выражение его лица. Вспоминая Голенищева худеньким, живым, добродушным и благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что Голенищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, которые его раздражали, и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому, но, несмотря на то, он чувствовал, что Голенищев несчастлив, и ему жалко было его. Несчастье, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно красивом лице в то время, как он, не замечая даже выхода Анны, продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли.

Когда Анна вышла в шляпе и накидке и, быстрым движением красивой руки играя зонтиком, остановилась подле него, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него жалующихся глаз Голенищева и с новой любовью взглянул на свою прелестную, полную жизни и радости подругу. Голенищев с трудом опомнился и первое время был уныл и мрачен, но Анна, ласково расположенная ко всем (какою она была это время), скоро освежила его своим простым и веселым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо, и внимательно слушала его. Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его.

– Я очень рада одному, – сказала Анна Голенищеву, когда они уже возвращались. – У Алексея будет atelier хороший.

– Непременно ты возьми эту комнатку, – сказала она Вронскому по-русски и говоря ему *ты*, так как она уже поняла, что Голенищев в их уединении делается близким человеком и что пред ним скрываться не нужно.

– Разве ты пишешь? – сказал Голенищев, быстро оборачиваясь к Вронскому.

– Да, я давно занимался и теперь немного начал, – сказал Вронский краснея.

– У него большой талант, – сказала Анна с радостной улыбкой. – Я, разумеется, не судья. Но судьи знающие то же сказали.

VIII.

Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости жизни. Воспоминание несчастья мужа не отравляло ее счастья. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастье ее мужа дало ей слишком большое счастье, чтобы

раскаиваться. Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном – всё это казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским за границей. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавшийся от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях.

Одно успокоительное рассуждение о своем поступке пришло ей тогда в первую минуту разрыва, и, когда она вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение. «Я неизбежно сделала несчастье этого человека, – думала она, – но я не хочу пользоваться этим несчастьем; я тоже страдаю и буду страдать: я лишаюсь того, чем я более всего дорожила, – я лишаюсь честного имени и сына. Я сделала дурно и потому не хочу счастья, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном». Но, как ни искренно хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было. С тем тактом, которого так много было у обоих, они за границей, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение гораздо лучше, чем они сами понимали его. Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучала ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне.

Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна и условия жизни были так новы и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливою. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно. Близость его ей всегда была приятна. Все черты его характера, который она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы. Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для нее привлекательна, как для молодой влюбленной. Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное. Ее восхищение пред ним часто пугало ее самое: она искала и не могла найти в нем ничего прекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить ее; а она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит это. Он, по ее мнению, имевший такое определенное призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль, – он пожертвовал честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он был, более чем прежде, любовно-почтителен к ней, и мысль о том, чтоб она никогда не почувствовала неловкости своего положения, ни на минуту не покидала его. Он, столь мужественный человек, в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желания. И она не могла не ценить этого, хотя эта самая напряженность его внимания к ней, эта атмосфера забот, которою он окружал ее, иногда тяготили ее.

Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, что он желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастья, которой он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания. Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. Шестнадцать часов дня надо было занять чем-нибудь, так как они жили за грани-

цей на совершенной свободе, вне того круга условий общественной жизни, который занимал время в Петербурге. Об удовольствиях холостой жизни, которые в прежние поездки за границу занимали Вронского, нельзя было и думать, так как одна попытка такого рода произвела неожиданное и несоответствующее позднему ужину с знакомыми уныние в Анне. Сношений с обществом местным и русским, при неопределенности их положения, тоже нельзя было иметь. Осматривание достопримечательностей, не говоря о том, что всё уже было видено, не имело для него, как для Русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу Англичане.

И как голодное животное хватается всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины.

Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею и в нее положил тот незанятый запас желаний, который требовал удовлетворения.

У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический, жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно, жизнью уже воплощенную искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать.

Более всех других родов ему нравился французский грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным.

IX.

Старый, запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гардинами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, – палаццо этот, после того как они переехали в него, самую свою внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам – скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины.

Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись чрез посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековою итальянскою жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить средневековски, что очень шло к нему.

– А мы живем и ничего не знаем, – сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Голенищеву. – Ты видел картину Михайлова? – сказал он, подавая ему только что полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике, жившем в том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи и которая вперед была куплена. В статье были укоры правительству и Академии за то, что замечательный художник был лишен всякого поощрения и помощи.

– Видел, – отвечал Голенищев. – Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Всё то же Ивановско-Штраусовско-Ренановское отношение к Христу и религиозной живописи.

– Что представляет картина? – спросила Анна.

– Христос пред Пилатом. Христос представлен Евреем со всем реализмом новой школы.

И, вопросом о содержании картины наведенный на одну из самых любимых тем своих, Голенищев начал излагать:

– Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет свое определенное воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят изображать не Бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлоту Корде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, а потом...

– А что же, правда, что этот Михайлов в такой бедности? – спросил Вронский, думая, что ему, как русскому меценату, несмотря на то, хороша ли или дурна его картина, надо бы помочь художнику.

– Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому может быть, что и точно он в нужде. Я говорю, что...

– Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны? – сказал Вронский.

– Зачем мой? – сказала Анна. – После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани (так она звала свою девочку). Вот и она, – прибавила она, взглянув в окно на красавицу Итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад, и тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского. Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственное тайное горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотой и средневековостью, и Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее и ее маленького сына.

Вронский взглянул тоже в окно и в глаза Анны и, тотчас же оборотившись к Голенищеву, сказал:

– А ты знаешь этого Михайлова?

– Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые d'embliée² воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма. Прежде бывало, – говорил Голенищев, не замечая или не желая заметить, что и Анне и Вронскому хотелось говорить, – прежде бывало вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства; но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слышав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, т. е. дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в Академию и сделал себе репутацию, он, как человек неглупый, захотел образоваться. И обратился к тому, что ему казалось источником образования, – к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положим, Француз, стал бы изучать всех классиков: и богословов, и трагиков, и историков, и философов, и понимаете весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной, и готов. И мало того: лет двадцать тому назад он нашел бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями, он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое; но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостоивают спором старинные

² [сразу]

воззрения, а прямо говорят: ничего нет, *évolution*, подбор, борьба за существование, – и всё. Я в своей статье....

– Знаете что, – сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся с Вронским и знавшая, что Вронского не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портрет. – Знаете что? – решительно перебила она разговарившего Голенищева. – Поедемте к нему!

Голенищев опомнился и охотно согласился. Но так как художник жил в дальнем квартале, то решили взять коляску.

Через час Анна рядом с Голенищевым и с Вронским на переднем месте коляски подъехали к новому красивому дому в дальнем квартале. Узнав от вышедшей к ним жены дворника, что Михайлов пускает в свою студию, но что он теперь у себя на квартире в двух шагах, они послали ее к нему с своими карточками, прося позволения видеть его картины.

Х.

Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большою картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшею денег.

– Двадцать раз тебе говорил, не входи в объяснения. Ты и так дура, а начнешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура, – сказал он ей после долгого спора.

– Так ты не запускай, я не виновата. Если б у меня были деньги...

– Оставь меня в покое, ради Бога! – воскликнул со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая!» сказал он себе, сел за стол и, раскрыв папку, тотчас о особенным жаром принялся за начатый рисунок.

Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо и в особенности когда он ссорился с женой. «Ах! провалиться бы куда-нибудь!» думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде; но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше.... Где он?» Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он всё-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.

– Так, так! —проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу.

Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки.

– Сейчас, сейчас!

Он прошел к жене.

– Ну полно, Саша, не сердись! – сказал он ей, робко и нежно улыбаясь. – Ты была виновата. Я был виноват. Я всё устрою. – И, помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошел в студию. Удавшаяся фигура уже была забыта им. Теперь его радовало и волновало посещение его студии этими важными Русскими, приехавшими в коляске.

О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение – то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаелевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твердо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее; но суждения людей, какие бы они ни были, имели для него всё-таки огромную важность и до глубины души волновали его. Всякое замечание, самое ничтожное, показывающее, что судьи видят хоть маленькую часть того, что он видел в этой картине, до глубины души волновало его. Судьям своим он приписывал всегда глубину понимания больше той, какую он сам имел, и всегда ждал от них чего-нибудь такого, чего он сам не видал в своей картине. И часто в суждениях зрителей, ему казалось, он находил это.

Он подходил быстрым шагом к своей двери студии, и, несмотря на свое волнение, мягкое освещение фигуры Анны, стоявшей в тени подъезда и слушавшей горячо говорившего ей что-то Голенищева и в то же время, очевидно, желавшей оглядеть подходящего художника, поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, так же как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится. Посетители, разочарованные уже вперед рассказом Голенищева о художнике, еще более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявою походкой, Михайлов, в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и в узких панталонах, тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблюсти свое достоинство произвел неприятное впечатление.

– Прошу покорно, – сказал он, стараясь иметь равнодушный вид и, войдя в сени, достал ключ из кармана и отпер дверь.

XI.

Войдя в студию, художник Михайлов еще раз оглянул гостей и отметил в своем воображении еще выражение лица Вронского, в особенности его скул. Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он чувствовал всё большее и большее волнение оттого, что приближалась минута суждений о его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах. Тот (Голенищев) был здешний Русский. Михайлов не помнил ни его фамилии, ни того, где встретил его и что с ним говорил. Он помнил только его лицо, как помнил все лица, которые он когда-либо видел, но он помнил тоже, что это было одно из лиц, отложенных в его воображении в огромный отдел фальшиво-значительных и бедных по выражению. Большие волосы и очень открытый лоб давали внешнюю значительность лицу, в котором было одно маленькое детское беспокойное выражение, сосредоточившееся над узкою переносицей. Вронский и Каренина, по соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые Русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все богатые Русские, но прикидывавшиеся любителями и ценителями. «Верно, уже осмотрели всю старину и теперь объезжают студии новых, шарлатана Немца и дурака прерафаелита Англичанина, и ко мне приехали только для полноты обозрения», думал он. Он знал очень хорошо манеру дилетантов (чем умнее они были, тем хуже) осматривать студии современных художников только с той целью, чтоб иметь право сказать, что искусство пало и что чем больше смотришь на новых, тем более видишь, как неподража-

емы остались великие древние мастера. Он всего этого ждал, всё это видел в их лицах, видел в той равнодушной небрежности, с которою они говорили между собой, смотрели на манекены и бюсты и свободно прохаживались, ожидая того, чтоб он открыл картину. Но, несмотря на это, в то время как он перевертывал свои этюды, поднимал сторы и снимал простыню, он чувствовал сильное волнение, и тем больше, что, несмотря на то, что все знатные и богатые Русские должны были быть скоты и дураки в его понятии, и Вронский и в особенности Анна нравились ему.

– Вот, не угодно ли? – сказал он, вертлявою походкой отходя к стороне и указывая на картину. – Это увещание Пилатом. Матфея глава XXVII, – сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения. Он отошел и стал позади их.

В те несколько секунд, во время которых посетители молча смотрели на картину, Михайлов тоже смотрел на нее и смотрел равнодушным, посторонним глазом. В эти несколько секунд он вперед верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесен ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад. Он забыл всё то, что он думал о своей картине прежде, в те три года, когда он писал ее; он забыл все те ее достоинства, которые были для него несомненны, – он видел картину их равнодушным, посторонним, новым взглядом и не видел в ней ничего хорошего. Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо Иоанна. Всякое лицо, с таким исканием, с такими ошибками, поправками выросшее в нем с своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им, – всё это вместе теперь, глядя их глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенною. Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, всё было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо, – он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Всё это было пошло, бедно и старо и даже дурно написано – пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно-учтивые фразы в присутствии художника и жалея его и смеясь над ним, когда останутся одни.

Ему стало слишком тяжело это молчание (хотя оно продолжалось не более минуты). Чтобы прервать его и показать, что он не взволнован, он, сделав усилие над собой, обратился к Голенищеву.

– Я, кажется, имел удовольствие встречаться, – сказал он ему, беспокойно оглядываясь то на Анну, то на Вронского, чтобы не проронить ни одной черты из выражения их лиц.

– Как же! мы виделись у Росси, помните, на этом вечере, где декламировала эта итальянская барышня – новая Рашель, – свободно заговорил Голенищев, без малейшего сожаления отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику.

Заметив однако, что Михайлов ждет суждения о картине, он сказал:

– Картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется...

Всё подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других сооб-

ражений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимую сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата; но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорили тем тихим голосом, которым, отчасти чтобы не оскорбить художника, отчасти чтобы не сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление. Он подошел к ним.

– Как удивительно выражение Христа! – сказала Анна. Из всего, что она видела, это выражение ей больше всего понравилось, и она чувствовала, что это центр картины, и потому похвала этого будет приятна художнику. – Видно, что ему жалко Пилата.

Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что ему жалко Пилата. В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе, так как один олицетворение плотской, другой духовной жизни. Всё это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом.

– Да, и как сделана эта фигура, сколько воздуха. Обойти можно, – сказал Голенищев, очевидно этим замечанием показывая, что он не одобряет содержания и мысли фигуры.

– Да, удивительное мастерство! – сказал Вронский. – Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника, – сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику.

– Да, да, удивительно! – подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насунился. Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противопоставляли внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было его хвалить за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы, и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину.

– Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание... – заметил Голенищев.

– Ах, я очень рад и прошу вас, – сказал Михайлов, притворно улыбаясь.

– Это то, что Он у вас человекобог, а не Богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели.

– Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе. – сказал Михайлов мрачно.

– Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль... Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это

другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую.

– Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?

– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог? и разрушает единство впечатления.

– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать.

Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова.

Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли.

ХII.

Анна с Вронским уже давно переглядывались, сожалея об умной говорливости своего приятеля, и наконец Вронский перешел, не дожидаясь хозяина, к другой, небольшой картине.

– Ах, какая прелесть, что за прелесть! Чудо! Какая прелесть! – заговорили они в один голос.

«Что им так понравилось?» подумал Михайлов. Он и забыл про эту, три года назад писанную, картину. Забыл все страдания и восторги, которые он пережил с этою картиной, когда она несколько месяцев одна неотступно день и ночь занимала его, забыл, как он всегда забывал про оконченные картины. Он не любил даже смотреть на нее и выставил только потому, что ждал Англичанина, желавшего купить ее.

– Это так, этюд давнишний, – сказал он.

– Как хорошо! – сказал Голенищев, тоже, очевидно, искренно подпавший под прелесть картины.

Два мальчика в тени ракиты ловили удочками рыбу. Один, старший, только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощенный этим делом; другой, помоложе, лежал на траве, облокотив спутанную белокурую голову на руки, и смотрел задумчивыми голубыми глазами на воду. О чем он думал?

Восхищение пред этою его картиной шевельнуло в Михайлове прежнее волнение, но он боялся и не любил этого праздного чувства к прошедшему, и потому, хотя ему и радостны были эти похвалы, он хотел отвлечь посетителей к третьей картине.

Но Вронский спросил, не продается ли картина. Для Михайлова теперь, взволнованного посетителями, речь о денежном деле была весьма неприятна.

– Она выставлена для продажи, – отвечал он, мрачно насупливаясь.

Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины Пилата и Христа и в уме своем повторял то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключаящего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать.

Нога Христа в ракурсе всё-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой посетители не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слиш-

ком видел всё. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе.

Вронский, Анна и Голенищев, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайлове и его картинах. Слово *талант*, под которым они разумели прирожденную, почти физическую способность, независимую от ума и сердца, и которым они хотели назвать всё, что переживаемо было художником, особенно часто встречалось в их разговоре, так как оно им было необходимо, для того чтобы называть то, о чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить. Они говорили, что в таланте ему нельзя отказать, но что талант его не мог развиваться от недостатка образования – общего несчастья наших русских художников. Но картина мальчиков запала в их памяти, и нет-нет они возвращались к ней.

– Что за прелесть! Как это удалось ему и как просто! Он и не понимает, как это хорошо. Да, надо не упустить и купить ее, – говорил Вронский.

ХIII.

Михайлов продал Вронскому свою картинку и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришел и начал работу.

Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенно красотой. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его.

– Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, – говорил он про свой портрет, – а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.

– Это придет, – утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Голенищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны.

В чужом доме и в особенности в палатке у Вронского Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского – ваше сиятельство и никогда, несмотря на приглашения Анны и Вронского, не оставался обедать и не приходил иначе, как для сеансов. Анна была более, чем к другим, ласкова к нему и благодарна за свой портрет. Вронский был с ним более чем учтив и, очевидно, интересовался суждением художника о своей картине. Голенищев не пропускал случая внушать Михайлову настоящие понятия об искусстве. Но Михайлов оставался одинаково холоден ко всем. Анна чувствовала по его взгляду, что он любил смотреть на нее; но он избегал разговоров с нею. На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского, и, очевидно, тяготился разговорами Голенищева и не возражал ему.

Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы враждебным, отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, в руках их остался прекрасный портрет, а он перестал ходить. Голенищев первый высказал мысль, которую все имели, именно, что Михайлов просто завидовал Вронскому.

– Положим, не завидует, потому что у него *талант*; но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф (ведь они всё это ненавидят) без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь. Главное, образование, которого у него нет.

Вронский защищал Михайлова, но в глубине души он верил этому, потому что, по его понятию, человек другого, низшего мира должен был завидовать.

Портрет Анны, одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне. Картину же свою из средневековой жизни он продолжал. И он сам, и Голенищев, и в особенности Анна находили, что она была очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова.

Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно.

Увлечение Вронского живописью и Средними Веками продолжалось недолго. Он имел настолько вкуса к живописи, что не мог докончить своей картины. Картина остановилась. Он смутно чувствовал, что недостатки ее, мало заметные при начале, будут поразительны, если он будет продолжать. С ним случилось то же, что и с Голенищевым, чувствующим, что ему нечего сказать, и постоянно обманывающим себя тем, что мысль не созрела, что он вынашивает ее и готовит материалы. Но Голенищева это озлобило и измучало, Вронский же не мог обманывать и мучать себя и в особенности озлобляться. Он со свойственной ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью.

Но без этого занятия жизнь его и Анны, удивлявшейся его разочарованию, показалась ему так скучна в итальянском городе, палаццо вдруг стал так очевидно стар и грязен, так неприятно пригляделись пятна на гардинах, трещины на полах, отбитая штукатурка на карнизах и так скучен стал всё один и тот же Голенищев, итальянский профессор и немец-путешественник, что надо было переменить жизнь. Они решили ехать в Россию, в деревню. В Петербурге Вронский намеревался сделать раздел с братом, а Анна повидать сына. Лето же они намеревались прожить в большом родовом имении Вронского.

XIV.

Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, – надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно.

Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не

могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье любви. Она должна была быть любима и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п. Еще бывши женихом, он был поражен тою определенностью, с которою она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и кроме своей любви могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как вешала гардины, как распределяла будущее помещение для гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушке, как заказывала обед старику повару, как входила в препиранья с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик повар улыбался, любясь ею и слушая ее неумелые, невозможные приказания; видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой, видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней и оттого ее никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно, и он думал, что лучше бы было без этого.

Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того ни другого нельзя было иметь, а теперь она могла заказать что хотела, купить груды конфет, издержать, сколько хотела денег и заказать какое хотела пирожное.

Она теперь с радостью мечтала о приезде Долли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное, а Долли оценит всё ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вила, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его и учиться, как это делать.

Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, было одно из разочарований; и эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, было одно из новых очарований.

Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками.

Первая эта их ссора произошла оттого, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнюю дорогой и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнее, чем то, с

каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его.

– Что ты?

– Тебе весело... – начала она, желая быть спокойно-ядовитою.

Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучало ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль.

Никогда он с такою силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее; но доказать ей вину значило еще более раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиною всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину; другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек, в полусне томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место – он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать.

Они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и оттого, что они не знали еще, что друг для друга важно, и оттого, что всё это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался, но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась. Но всё-таки это первое время было тяжелое для них время.

Во всё это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергиванье в ту и другую сторону той цепи, которою они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоим самым тяжелым и унижительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою.

Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее.

XV.

Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она, в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела

на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила *broderie anglaise*.³ Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие. Занятия его и хозяйством и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им; но как прежде эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь, так точно неважны и малы они казались теперь в сравнении с тою облитой ярким светом счастья предстоящею жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие проблемы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти всё дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника – биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают, только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере, в определенные условия; что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелия; что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономической, но политической необходимостью, были преждевременны и, вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия.

Между тем как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует, – думала она. – Боже мой! как он мил и глуп. Он ревнует меня! Если б он знал, что они все для меня как Петр повар, – думала она, глядя с странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею. – Хоть и жалко отрывать его от занятий (но он успеет!), надо посмотреть его лицо; почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он оборотился... Хочу, ну!» – и она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда.

– Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск, – пробормотал он, остановившись писать, и чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся.

– Что? – спросил он, улыбаясь и вставая.

«Оглянулся», подумала она.

– Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся, – сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его.

³ [английскую вышивку.]

– Ну, ведь как хорошо нам вдвоем! Мне, то есть, – сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья.

– Мне так хорошо! Никуда не поеду, особенно в Москву.

– А о чем ты думала?

– Я? я думала... Нет, нет, иди, пиши, не развлекайся, – сказала она, морща губы, – и мне надо теперь вырезать вот эти дырочки, видишь?

Она взяла ножницы и стала прорезывать.

– Нет, скажи же, что? – сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц.

– Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоём затылке.

– За что именно мне такое счастье? Ненатурально. Слишком хорошо, – сказал он, целуя ее руку.

– Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее.

– А у тебя косичка, – сказал он, осторожно поворачивая ее голову. – Косичка. Видишь, вот тут. Нет, нет мы делом занимаемся.

Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан.

– А из города приехали? – спросил Левин у Кузьмы.

– Только что приехали, разбираются.

– Приходи же скорее, – сказала она ему, уходя из кабинета, – а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть.

Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, всё с нею же появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли; чувство, подобное раскаянию, мучало его. Что-то стыдное, изнеженное, Капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так не хорошо, – думал он. – Вот скоро три месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия – и те я почти оставил. По хозяйству – и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящая. А вот три месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгордить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить... Разумеется, она не виновата», говорил он себе.

Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого, и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то что она сама виновата (виноватую она ни в чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное («этот дурак Чарский: она, я знаю, хотела, но не умела остановить его»), «Да, кроме интереса к дому (это было у нее), кроме своего туалета и кроме *broderie anglaise*, у нее нет серьезных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена». Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не подумал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастья любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо.

XVI.

Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитой ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которою они были в постоянной и частой переписке.

– Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть, – сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити.

В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новою хозяйкой, отнявшею у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить.

– Вот я и прочла твое письмо, – сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. – Это от той женщины, кажется, твоего брата... – сказала она. – Я не прочла. А это от моих и от Долли. Представь! Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню; Таня была маркизой.

Но Левин не слушал ее; он, покраснев, взял письмо от Марьи Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марьи Николаевны. В первом письме Марья Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место на службе. Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли встанет, – писала она. «Все о вас поминали, да и денег больше нет».

– Прочти, о тебе Долли пишет, – начала было Кити улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа.

– Что ты? Что такое?

– Она мне пишет, что Николай брат при смерти. Я поеду.

Лицо Кити вдруг переменялось. Мысли о Тане маркизой, о Долли, всё это исчезло.

– Когда же ты поедешь? – сказала она.

– Завтра.

– И я с тобой, можно? – сказала она.

– Кити! Ну, что это? – с упреком сказал он.

– Как что? – оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. – Отчего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать. Я...

– Я еду потому, что мой брат умирает, – сказал Левин. – Для чего ты...

– Для чего? Для того же, для чего и ты.

«И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной», подумал Левин. И эта отговорка в деле таком важном рассердила его.

– Это невозможно, – сказал он строго.

Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала.

– А я тебе говорю, что, если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду, – торопливо и гневно заговорила она. – Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?

– Потому, что ехать Бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь, – говорил Левин, стараясь быть хладнокровным.

– Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я...

– Ну, уже по одному тому, что там женщина эта, с которой ты не можешь сближаться.

– Я ничего не знаю и знать не хочу, кто там и что. Я знаю, что брат моего мужа умирает и муж едет к нему, и я еду с мужем, чтобы...

– Кити! Не рассердись. Но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву.

– Вот, ты *всегда* приписываешь мне дурные, подлые мысли, – заговорила она со слезами оскорбления и гнева. – Я ничего, ни слабости, ничего... Я чувствую, что мой долг быть с мужем, когда он в горе, но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать...

– Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то! – вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать своей досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя.

– Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься? – заговорила она, вскочила и побежала в гостиную.

Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез.

Он начал говорить, желал найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку, – она всё молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити!» – вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась.

Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать, только чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марьи Николаевны при брате не представляет ничего неприличного; но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно (и как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был во глубине души несогласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса.

XVII.

Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже эlegantности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние; и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современно железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы – произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их.

Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было: один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой – адвокатом из Москвы, третий – княгиней Астафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбы-

валось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им номер.

– Иди, иди! – сказала она, робким, виноватым взглядом глядя на него.

Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какую он видел ее в Москве; то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушно-тупое, несколько пополневшее, рябое лицо.

– Ну, что? Как он? что?

– Очень плохо. Не встают. Они всё ждали вас. Они... Вы... с супругой.

Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему.

– Я уйду, я на кухню пойду, – выговорила она. – Они рады будут. Они слышали, и их знают и помнят за границей.

Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить.

– Пойдемте, пойдемте! – сказал он.

Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение; но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать.

Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновение.

– Ну что же? Что же он? – обратилась она к мужу и потом к ней.

– Да нельзя же в коридоре разговаривать! – сказал Левин, с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору.

– Ну так войдите, – сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне; но заметив испуганное лицо мужа, – или идите, идите и пришлите за мной, – сказала она и вернулась в номер. Левин пошел к брату.

Он никак не ожидал того, что он увидел и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманыванья, которое, он слышал, так часто бывает у чахоточных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, бóльшую слабость, бóльшую худобу, но всё-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, которое он испытал тогда, но только в большей степени. И он готовился на это; но нашел совсем другое.

В маленьком грязном номере, заплыванном по раскрашенным панно стен, за тонкою перегородкой которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.

«Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай», подумал Левин. Но он подошел ближе, увидел лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат.

Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье.

Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось.

– Ты не ожидал меня найти таким, – с трудом выговорил он.

– Да... нет, – говорил Левин, путаясь в словах. – Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде.

Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить, тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он всё еще надеялся.

Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену.

– Ну, хорошо, а я велю подчистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша! убери здесь, – с трудом сказал больной. – Да как уберешь, сама уйди, – прибавил он, вопросительно глядя на брата.

Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтоб она не ходила к больному. «За что ей мучаться, как я?» подумал он.

– Ну, что? как? – с испуганным лицом спросила Кити.

– Ах, это ужасно, ужасно! Зачем ты приехала? – сказал Левин.

Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа; потом подошла и обеими руками взялась за его локоть.

– Костя! сведи меня к нему, нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, сведи меня, пожалуйста, и уйди, – заговорила она. – Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь! — умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого.

Левин должен был согласиться, и, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату.

Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтоб ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той, только женщинам свойственною, неоскорбляющею и сочувствующею тихой оживленностью начала говорить с ним.

– Мы встречались, но не были знакомы, в Содене, – сказала она. – Вы не думали, что я буду ваша сестра.

– Вы бы не узнали меня? – сказал он с просиявшею при ее входе улыбкой.

– Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать! Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился.

Но оживление больного продолжалось недолго.

Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому.

– Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо, – сказала она отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. – Надо будет спросить у хозяина другую комнату, – сказала она мужу, – и потом чтобы нам ближе быть.

XVIII.

Левин не мог спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокойным в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застигались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок, и мучительное положение и стоны и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, костречы, спина и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможной, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним.

Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну мести, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло. Что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой номер, не обращая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенцы, рубашки.

Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз с сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такою ласковою настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего; он не верил, чтоб из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными, выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону; но больной застонал, и она быстро направилась к нему.

– Скорее же, – сказала она.

– Да не ходите, – проговорил сердито больной, – я сам...

– Что говорите? – переспросила Марья Николаевна.

Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней.

– Я не смотрю, не смотрю! – сказала она, поправляя руку. – Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, – прибавила она.

– Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке стекляночку, – обратилась она к мужу, – знаешь, в боковом карманчике, принеси, пожалуйста, а куда здесь уберут совсем.

Вернувшись со стеклянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стеклянки, графин, и сложено было нужное белье и работа *broderie anglaise* Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити.

Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенною подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом – какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: «твоя Катя», по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее.

– Мне гораздо уж лучше, – сказал он. – Вот с вами я бы давно выздоровел. Как хорошо! – Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожалала ее.

– Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать, – проговорил он.

Никто не расслышал того, что он сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было.

– На другую сторону, – сказала она мужу, – он спит всегда на той. Переложите его, неприятно звать слуг. Я не могу. А вы не можете? – обратилась она к Марье Николаевне.

– Я боюсь, – отвечала Марья Николаевна.

Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странною тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею обнятою огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волосы, опять прилипшие на виске.

Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты.

XIX.

«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным». Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер.

Левин думал о евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как ни различны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе несомненно

знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать.

Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным, нельзя; говорить о смерти, о мрачном – тоже нельзя. Молчать – тоже нельзя. «Смотреть – он подумает, что я изучаю его, боюсь; не смотреть – он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках – он будет недоволен; на всю ногу – совестно». Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе; она думала о нем, потому что знала что-то, и всё выходило хорошо. Она и про себя рассказывала и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и всё выходило хорошо; стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава Богу, причастили, соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.

Вернувшись от больного на ночь в свои два номера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что всё прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам.

Всё дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты: постели постланы, щетки, гребни, зеркала выложены, салфеточки постланы.

Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала всё это так, что ничего в этом оскорбительного не было.

Есть однако они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать.

– Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, – говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. – Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.

– Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? – сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назад ее круглой головки.

– Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я всё-таки очень рада, что уговорила его, – сказала она, косясь на мужа из-за

волос. – Всё может быть, – прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии.

После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что всё то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про *broderie anglaise*: будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и т. п.

– Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого, – сказал Левин. – И... должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что... – Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза.

– Тебе бы так мучительно было одному, – сказала она и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. – Нет, – продолжала она, – она не знала... Я, к счастью, научилась многому в Содене.

– Неужели там такие же были больные?

– Хуже.

– Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым... Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда.

– Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны *были* с ним, – сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза.

– Да, *были бы*, – сказал он грустно. – Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира.

– Однако нам много предстоит дней, надо ложиться, – оказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.

XX.

Смерть.

На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей; он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верования, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумною надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Всё это знал Левин, и ему мучительно, больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на тугообтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к Богу: «сделай, если Ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много раз), и Ты спасешь его и меня».

После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, улыбался, целовал руку Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еще котлету. Как ни безнадежен он был, как ни очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении.

– Лучше? – Да, гораздо. – Удивительно. – Ничего нет удивительного. – Всё-таки лучше, – говорили они шопотом, улыбаясь друг другу.

Обошщение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но чрез полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном.

Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтоб ему дали иоду для вдыхания в стеклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которою он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхания иода производят чудеса.

– Что, Кати нет? – прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. – Нет, так можно сказать... Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю, – сказал он и, сжимая стеклянку костлявой рукой, стал дышать над ней.

В восьмом часу вечера Левин с женою пил чай в своем номере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали.

– Умирает! – прошептала она. – Я боюсь, сейчас умрет.

Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой, на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.

– Что ты чувствуешь? – спросил шопотом Левин после молчания.

– Чувствую, что отправляюсь, – с трудом, но с чрезвычайною определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата. – Катя, уйди! – проговорил он еще.

Левин вскочил и повелительным шопотом заставил ее выйти.

– Отправляюсь, – сказал он опять.

– Почему ты думаешь? – сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь.

– Потому, что отправляюсь, – как будто полюбив это выражение, повторил он. – Конец. Марья Николаевна подошла к нему.

– Вы бы легли, вам легче, – сказала она.

– Скоро буду лежать тихо, – проговорил он, – мертвый. – сказал он насмешливо, сердито. – Ну, положите, коли хотите.

Левин положил брата на спину, сел подле него и не дыша глядел на его лицо. Умиравший лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтоб итти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется и уясняется то, что всё так же темно остается для Левина.

– Да, да, так, – с расстановкой медленно проговорил умирающий. – Постойте. – Опять он помолчал. – Так! – вдруг успокоительно протянул он, как будто всё разрешилось для него. – О Господи! – проговорил он и тяжело вздохнул.

Марья Николаевна пощупала его ноги. – Холодеют, – прошептала она.

Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он всё еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на всё напряжение мысли, он не мог понять то, что было *так*. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас, придется ему делать: закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И, странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь.

Он еще долго сидел так над ним, всё ожидая конца. Но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтоб остановить ее. Но в то время, как он вставал, он услышал движение мертвеца.

– Не уходи, – сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтоб она ушла.

С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал:

– Не уходи.

.....

Рассвело; положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить и опять перестал говорить о смерти, опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити, не могли успокоить его. Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтоб ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрека:

– Страдаю ужасно, невыносимо!

Больной страдал всё больше и больше, в особенности от пролежней, которые нельзя уже было залечить, и всё больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его; но всё было напрасно, и Левин видел, что она сама и физически и нравственно была измучена, хотя и не признавалась в этом. То чувство смерти, которое было вызвано во всех его прощанием с жизнью в ту ночь, когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали, чтоб он как можно скорее умер, и все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга. Всё это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту ложь, и по свойству своего характера и потому, что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал.

Левин, которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев хотя перед смертью, писал брату Сергею Ивановичу и, получив от него ответ, прочел это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата.

Больной ничего не сказал.

– Что же мне написать ему? – спросил Левин. – Надеюсь, ты не сердишься на него?

– Нет,нисколько! – с досадой на этот вопрос отвечал Николай. – Напиши ему, чтоб он прислал ко мне доктора.

Прошли еще мучительные три дня; больной был всё в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его: и лакеи гостиницы, и хозяйин ее, и все постояльцы, и доктор, и Марья Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а, напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарство и говорил о жизни. Только в редкие минуты, когда опиум заставлял его на мгновение забыть о непрерывных страданиях, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других, было в его душе: «Ах, хоть бы один конец!» Или: «Когда это кончится!»

Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучали его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания – всё это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем ни свободных движений, ни разговоров, ни выражения своих желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желания избавиться от него.

В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение; но теперь лишение и страдание не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно – желание избавиться от всех страданий и их источника, тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. «Переложите меня на другой бок», говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили как прежде. «Дайте бульону. Унесите бульон. Расскажите что-нибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение.

На десятый день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она всё утро не могла встать с постели.

Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие.

После обеда однако Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал.

– Как вы себя чувствуете? – спросила она его.

– Хуже, – с трудом проговорил он. – Больно!

– Где больно?

– Везде.

– Нынче кончится, посмотрите, – сказала Марья Николаевна хотя и шопотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал; но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был всё тот же укоризненный и напряженный.

– Отчего вы думаете? – спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор.

– Стал обирать себя, – сказала Марья Николаевна.

– Как обирать?

– Вот так, – сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то.

Предсказание Марьи Николаевны было верно. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения

взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним, так, чтоб он мог их видеть, он так же смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную.

Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никаких признаков жизни; глаза были закрыты. Левин, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест, потом медленно завернул его в епитрахиль и, постояв еще молча минуты две, дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки.

– Кончился, – сказал священник и хотел отойти; но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно-резкие звуки:

– Не совсем... Скоро.

И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка, и собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника.

Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса перед неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище.

Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни.

Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность.

XXI.

С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси и со Степаном Аркадьичем, что от него требовалось только того, чтоб он оставил свою жену в покое, не утруждая ее своим присутствием, и что сама жена его желала этого, он почувствовал себя столь потерянным, что не мог ничего сам решить, не знал сам, чего он хотел теперь, и, отдавшись в руки тех, которые с таким удовольствием занимались его делами, на всё отвечал согласием. Только когда Анна уже уехала из его дома и Англичанка прислала спросить его, должна ли она обедать с ним или отдельно, он в первый раз понял ясно свое положение и ужаснулся ему.

Труднее всего в этом положении было то, что он никак не мог соединить и примирить своего прошедшего с тем, что теперь было. Не то прошедшее, когда он счастливо жил с женой, смущало его. Переход от того прошедшего к знанию о неверности жены он страдальчески пережил уже; состояние это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявив о своей неверности, ушла от него, он был бы огорчен, несчастлив, но он не был бы в том для самого себя безвыходном, непонятном положении, в каком он чувствовал себя теперь. Он не мог теперь никак примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за всё это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый.

Первые два дня после отъезда жены Алексей Александрович принимал просителей, правителя дел, ездил в комитет и выходил обедать в столовую, как и обыкновенно. Не давая себе отчета, для чего он это делает, он все силы своей души напрягал в эти два дня только на то, чтоб иметь вид спокойный и даже равнодушный. Отвечая на вопросы о том, как распорядиться с вещами и комнатами Анны Аркадьевны, он делал величайшие усилия над собой, чтоб иметь вид человека, для которого случившееся событие не было непредвиденным и не имеет в себе ничего, выходящего из ряда обыкновенных событий, и он достигал своей цели: никто не мог

заметить в нем признаков отчаяния. Но на второй день после отъезда, когда Корней подал ему счет из модного магазина, который забыла заплатить Анна, и доложил, что приказчик сам тут, Алексей Александрович велел позвать приказчика.

– Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к ее превосходительству, то не благоволите ли сообщить их адрес.

Алексей Александрович задумался, как показалось приказчику, и вдруг, повернувшись, сел к столу. Опустив голову на руки, он долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался.

Поняв чувства барина, Корней попросил приказчика прийти в другой раз. Оставшись опять один, Алексей Александрович понял, что он не в силах более выдерживать роль твердости и спокойствия. Он велел отложить ожидавшуюся карету, никого не велел принимать и не вышел обедать.

Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвлечь от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не оттого, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но оттого, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей – скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу.

Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать всё, что испытывал, кто бы пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; но и нигде у него не было такого человека.

Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их.

Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий ему по душе человек, но он служил по министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича.

Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометтировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене всё то чувство, на которое был способен.

Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. Много было того, что называется связями; но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александровича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовавшем его деле, о протекции какому-нибудь искателю, с которыми он мог обсуждать откровенно действия других лиц и высшего правительства; но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо определенную обычаем и привычкой

область, из которой невозможно было выйти. Был один университетский товарищ, с которым он сблизился после и с которым он мог бы поговорить о личном горе; но товарищ этот был попечителем в дальнем учебном округе. Из лиц же, бывших в Петербурге, ближе и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор.

Михаил Васильевич Слюдин, правитель дел, был простой, умный, добрый и нравственный человек, и в нем Алексей Александрович чувствовал личное к себе расположение; но пятилетняя служебная их деятельность положила между ними преграду для душевных объяснений.

Алексей Александрович, окончив подписку бумаг, долго молчал, взглядывая на Михаила Васильевича, и несколько раз пытался, но не мог заговорить. Он приготовил уже фразу: «вы слышали о моем горе?» Но кончил тем, что сказал, как и обыкновенно: «так вы это приготовите мне», и с тем отпустил его.

Другой человек был доктор, который тоже был хорошо расположен к нему; но между ними уже давно было молчаливым соглашением признано, что оба завалены делами, и обоим надо торопиться.

О женских своих друзьях и о первом из них, о графине Лидии Ивановне, Алексей Александрович не думал. Все женщины, просто как женщины, были страшны и противны ему.

XXII.

Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне, но она не забыла его. В эту самую тяжелую минуту одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет. Она застала его в том же положении, в котором он сидел, опершись головой на обе руки.

– J'ai forcé la consigne,⁴ – сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша от волнения и быстрого движения. – Я всё слышала! Алексей Александрович! Друг мой! – продолжала она, крепко обеими руками пожимая его руку и глядя ему в глаза своими прекрасными задумчивыми глазами.

Алексей Александрович хмурясь привстал и, выпростав от нее руку, подвинул ей стул.

– Не угодно ли, графиня? Я не принимаю, потому что я болен, графиня, – сказал он, и губы его задрожали.

– Друг мой! – повторила графиня Лидия Ивановна, не спуская с него глаз, и вдруг брови ее поднялись внутренними сторонами, образуя треугольник на лбу; некрасивое желтое лицо ее стало еще некрасивее; но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его и готова плакать. И на него нашло умиление: он схватил ее пухлую руку и стал целовать ее.

– Друг мой! – сказала она прерывающимся от волнения голосом. – Вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение.

– Я разбит, я убит, я не человек более! – сказал Алексей Александрович, выпуская ее руку, но продолжая глядеть в ее наполненные слезами глаза. – Положение мое тем ужасно, что я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры.

– Вы найдете опору, ищите ее не во мне, хотя я прошу вас верить в мою дружбу, – сказала она со вздохом. – Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко, – сказала она с тем восторженным взглядом, который так знал Алексей Александрович. – Он поддержит вас и поможет вам.

Несмотря на то, что в этих словах было то умиление пред своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексею Александровичу излишним, новое, восторженное, недавно рас-

⁴ [Я нарушила запрет.]

пространившееся в Петербурге мистическое настроение, Алексею Александровичу приятно было это слышать теперь.

– Я слаб. Я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю.

– Друг мой, – повторяла Лидия Ивановна.

– Не потеря того, чего нет теперь, не это, – продолжал Алексей Александрович. – Я не жалею. Но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу.

– Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце, – сказала графиня Лидия Ивановна, восторженно поднимая глаза, – и потому вы не можете стыдиться своего поступка.

Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами.

– Надо знать все подробности, – сказал он тонким голосом. – Силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжения, распоряжения по дому, вытекавшие (он налег на слово *вытекавшие*) из моего нового, одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счета... Этот мелкий огонь сжег меня, я не в силах был выдержать. За обедом... я вчера едва не ушел от обеда. Я не мог перенести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить, и я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало...

Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет, на синей бумаге, за шляпку, ленты, он не мог вспомнить без жалости к самому себе.

– Я понимаю, друг мой, – сказала графиня Лидия Ивановна. – Я всё понимаю. Помощь и утешение вы найдете не во мне, но я всё-таки приехала только затем, чтобы помочь вам, если могу. Если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы... Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне?

Алексей Александрович молча и благодарно пожал ее руку.

– Мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах. Но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я делаю это не сама...

– Я не могу не благодарить.

– Но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили – стыдиться того, что есть высшая высота христианина: *кто унижает себя, тот возвысится*. И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить Его и просить Его о помощи. В Нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь, – сказала она и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию.

Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, а казались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно, что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению и с графиней Лидией Ивановной, увлекавшейся им, никогда не спорил, а старательно обходил молчанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренне не возражал им.

– Я очень, очень благодарен вам и за дела и за слова ваши, – сказал он, когда она кончила молиться.

Графиня Лидия Ивановна еще раз пожала обе руки своего друга.

– Теперь я приступаю к делу, – сказала она с улыбкой, помолчав и отирая с лица остатки слез. – Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам. – И она встала и вышла.

Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла.

Графиня Лидия Ивановна исполнила свое обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома Алексея Александровича. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы, и изменялись они Корнеем, камердинером Алексея Александровича, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина и спокойно и осторожно во время одеванья барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь Лидии Ивановны всё-таки была в высшей степени действительна: она дала нравственную опору Алексею Александровичу в сознании ее любви и уважения к нему и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство, то есть из равнодушно и лениво верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербурге. Алексею Александровичу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрения, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требуют соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он не видел ничего невозможного и несообразного в представлении о том, что смерть, существующая для неверующих, для него не существует, и что так как он обладает полнейшею верой, судьей меры которой он сам, то и греха уже нет в его душе, и он испытывает здесь на земле уже полное спасение.

Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Александровичу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос и что, подписывая бумаги, он исполняет Его волю; но для Алексея Александровича было необходимо так думать, ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную, высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался, как за спасение, за свое мнимое спасение.

XXIII.

Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженной девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака. На второй месяц муж бросил ее и на восторженные ее уверения в нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли объяснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женою, то всегда относился к ней с неизменною ядовитой насмешкой, причину которой нельзя было понять.

Графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленною в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленною в кого-нибудь. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин и в женщин; она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. Она была влюблена во всех новых принцесс и принцев, вступавших в родство с Царскою фамилией, была влюблена в одного митрополита, одного викарного и одного священника. Была влюблена в одного журналиста, в трех славян, в Комисарова; в одного министра, одного доктора, одного английского миссионера и в Каренина. Все эти любви, то ослабевая, то усиливаясь, не мешали ей в ведении самых распространенных и сложных придворных и

светских отношений. Но с тех пор как она, после несчастья, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие, а что она истинно влюблена теперь в одного Каренина. Чувство, которое она теперь испытывала к нему, казалось ей сильнее всех прежних чувств. Анализируя свое чувство и сравнивая его с прежними, она ясно видела, что не была бы влюблена в Комисарова, если б он не спас жизни Государя, не была бы влюблена в Ристич-Куджицкого, если бы не было Славянского вопроса, но что Каренина она любила за него самого, за его высокую непонятую душу, за милый для нее тонкий звук его голоса с его протяжными интонациями, за его усталый взгляд, за его характер и мягкие белые руки с напухшими жилами. Она не только радовалась встрече с ним, но она искала на его лице признаков того впечатления, которое она производила на него. Она хотела нравиться ему не только речами, но и всею своею особою. Она для него занималась теперь своим туалетом больше, чем когда-нибудь прежде. Она заставляла себя на мечтаниях о том, что было бы, если б она не была замужем и он был бы свободен. Она краснела от волнения, когда он входил в комнату, она не могла удержать улыбку восторга, когда он говорил ей приятное.

Уже несколько дней графиня Лидия Ивановна находилась в сильнейшем волнении. Она узнала, что Анна с Вронским в Петербурге. Надо было спасти Алексея Александровича от свидания с нею, надо было спасти его даже от мучительного знания того, что эта ужасная женщина находится в одном городе с ним и что он каждую минуту может встретить ее.

Лидия Ивановна через своих знакомых разведывала о том, что намерены делать эти *отвратительные люди*, как она называла Анну с Вронским, и старалась руководить в эти дни всеми движениями своего друга, чтоб он не мог встретить их. Молодой адъютант, приятель Вронского, через которого она получала сведения и который через графиню Лидию Ивановну надеялся получить концессию, сказал ей, что они кончили свои дела и уезжают на другой день. Лидия Ивановна уже стала успокаиваться, как на другое же утро ей принесли записку, почерк которой она с ужасом узнала. Это был почерк Анны Карениной. Конверт был из толстой, как лубок, бумаги; на продолговатой желтой бумаге была огромная монограмма, и от письма пахло прекрасно.

– Кто принес?

– Комиссионер из гостиницы.

Графиня Лидия Ивановна долго не могла сесть, чтобы прочесть письмо. У ней от волнения сделался припадок одышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо.

«Madame la Comtesse,⁵ – Христианские чувства, которые наполняют ваше сердце, дают мне, я чувствую, непростительную смелость писать вам. Я несчастна от разлуки с сыном. Я умоляю о позволении видеть его один раз пред моим отъездом. Простите меня, что я напоминаю вам о себе. Я обращаюсь к вам, а не к Алексею Александровичу только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушного человека воспоминанием о себе. Зная вашу дружбу к нему, вы поймете меня. Пришлете ли вы Сережу ко мне, или мне приехать в дом в известный, назначенный час, или вы мне дадите знать, когда и где я могу его видеть вне дома? Я не предполагаю отказа, зная великодушие того, от кого оно зависит. Вы не можете себе представить ту жажду его видеть, которую я испытываю, и потому не можете представить ту благодарность, которую во мне возбудит ваша помощь.

Анна».

Всё в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну: и содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, как ей показалось, тон.

⁵ [Графиня,]

– Скажи, что ответа не будет, – сказала графиня Лидия Ивановна и тотчас, открыв бювар, написала Алексею Александровичу, что надеется видеть его в первом часу на поздравлении во дворце.

«Мне нужно переговорить с вами о важном и грустном деле. Там мы условимся, где. Лучше всего у меня, где я велю приготовить *ваш* чай. Необходимо. Он налагает крест, но Он дает и силы», прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его.

Графиня Лидия Ивановна писала обыкновенно по две и по три записки в день Алексею Александровичу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких не доставало в ее личных сношениях.

XXIV.

Поздравление кончалось. Уезжавшие, встречаясь, переговаривались о последней новости дня, вновь полученных наградах и перемещении важных служащих.

– Как бы графине Марье Борисовне – военное министерство, а начальником бы штаба княгиню Ватковскую, – говорил, обращаясь к высокой красавице фрейлине, спрашивавшей у него о перемещении, седой старичок в расшитом золотом мундире.

– А меня в адъютанты, – отвечала фрейлина улыбаясь.

– Вам уж есть назначение. Вас по духовному ведомству. И в помощники вам – Каренина.

– Здравствуйте, князь! – сказал старичок, пожимая руку подошедшему.

– Что вы про Каренина говорили? – сказал князь.

– Он и Путяттов Александра Невского получили.

– Я думал, что у него уж есть.

– Нет. Вы взгляните на него, – сказал старичок, указывая расшитою шляпой на остановившегося в дверях зала с одним из влиятельных членов Государственного Совета Каренина в придворном мундире с новою красною лентою через плечо. – Счастлив и доволен, как медный грош, – прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически сложенному красавцу камергеру.

– Нет, он постарел, – сказал камергер.

– От забот. Он теперь всё проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит всё по пунктам.

– Как постарел? Il fait des passions.⁶ Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его теперь к жене.

– Ну, что! Про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурного.

– Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина?

– А правда, что Каренина здесь?

– То есть не здесь, во дворце, а в Петербурге. Я вчера встретил их, с Алексеем Вронским, *bras dessus, bras dessous*,⁷ на Морской.

– C'est un homme qui n'a pas...⁸ начал было камергер, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе Царской фамилии.

Так не переставая говорили об Алексее Александровиче, осуждая его и смеясь над ним, между тем как он, заступив дорогу пойманному им члену Государственного Совета и ни на минуту не прекращая своего изложения, чтобы не упустить его, по пунктам излагал ему финансовый проект.

⁶ [Он имеет успех.]

⁷ [под-руку.]

⁸ [Это человек, у которого нет...]

Почти в одно и то же время, как жена ушла от Алексея Александровича, с ним случилось и самое горькое для служащего человека событие – прекращение восходящего служебного движения. Прекращение это совершилось, и все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стремовым, несчастье ли с женой, или просто то, что Алексей Александрович дошел до предела, который ему был предназначен, но для всех в нынешнем году стало очевидно, что служебное поприще его кончено. Он еще занимал важное место, он был членом многих комиссий и комитетов; но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы ни предлагал, его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не нужно.

Но Алексей Александрович не чувствовал этого и, напротив того, будучи устранен от прямого участия в правительственной деятельности, яснее чем прежде видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому ненужных записок по всем отраслям управления, которые было суждено написать ему.

Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире и не только не огорчился им, но больше чем когда-нибудь был доволен своею деятельностью.

«Женатый заботится о мирском, как угодить жене, неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу», говорит апостол Павел, и Алексей Александрович, во всех делах руководившийся теперь Писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что, с тех пор как он остался без жены, он этими самыми проектами более служил Господу, чем прежде.

Очевидное нетерпение члена Совета, желавшего уйти от него, не смущало Алексея Александровича; он перестал излагать, только когда член, воспользовавшись проходом лица Царской фамилии, ускользнул от него.

Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну.

«И как они все сильны и здоровы физически, – подумал Алексей Александрович, глядя на могучего с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти. – Справедливо сказано, что всё в мире есть зло», подумал он, косясь еще раз на икры камергера.

Неторопливо передвигая ногами, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем, и, глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну.

– А! Алексей Александрович! – сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову. – Я вас еще не поздравил, – сказал он, указывая на его новополученную ленту.

– Благодарю вас, – отвечал Алексей Александрович. – Какой нынче *прекрасный* день, – прибавил он, по своей привычке особенно налегая на слове «прекрасный».

Что они смеялись над ним, он знал это, но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности; он уже привык к этому.

Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь, и зовущие к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувядающие белые зубы, и подошел к ней.

Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как и все ее туалеты в это последнее время. Цель ее туалета была теперь совсем обратная той, которую она преследовала тридцать лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена,

что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательной. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которое окружало его.

Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он естественно тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету.

– Поздравляю вас, – сказала она ему, указывая глазами на ленту.

Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не признается в этом.

– Что наш ангел? – сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу.

– Не могу сказать, чтоб я был вполне доволен им, – поднимая брови и открывая глаза, сказал Алексей Александрович. – И Ситников не доволен им. (Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи.) Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка, – начал излагать свои мысли Алексей Александрович, по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу – воспитанию сына.

Когда Алексей Александрович с помощью Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своею обязанностью заняться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И прочтя несколько книг антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и, пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это постоянно занимало его.

– Да, но сердце? Я вижу в нем сердце отца, и с таким сердцем ребенок не может быть дурен, – сказала графиня Лидия Ивановна с восторгом.

– Да, может быть... Что до меня, то я исполняю свой долг. Это всё, что я могу сделать.

– Вы приедете ко мне, – сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав, – нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я всё бы дала, чтоб избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от *нее* письмо. Она здесь, в Петербурге.

Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мертвая неподвижность, которая выражала совершенную беспомощность в этом деле.

– Я ждал этого, – сказал он.

Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза.

XXV.

Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами, уютный кабинет графини Лидии Ивановны, самой хозяйки еще не было. Она переодевалась.

На круглом столе была накрыта скатерть и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшее на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его.

– Ну вот, теперь мы сядем спокойно, – сказала графиня Лидия Ивановна, с взволнованною улыбкой поспешно пролезая между столом и диваном, – и поговорим за нашим чаем.

После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо.

Прочтя письмо, он долго молчал.

– Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, – сказал он робко, подняв глаза.

– Друг мой! Вы ни в ком не видите зла!

– Я, напротив, вижу, что всё есть зло. Но справедливо ли это?..

В лице его была нерешительность и искание совета, поддержки и руководства в деле для него непонятном.

– Нет, – перебила его графиня Лидия Ивановна. – Есть предел всему. Я понимаю безнравственность, – не совсем искренно сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности, – но я не понимаю жестокости, к кому же? к вам! Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость.

– А кто бросит камень? – сказал Алексей Александрович, очевидно довольный своей ролью. – Я всё простил и потому не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее – любви к сыну...

– Но любовь ли это, друг мой? Искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете... но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершею. Он молится за нее и просит Бога простить ее грехи... И так лучше. А тут что он будет думать?

– Я не думал об этом, – сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь.

Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась.

– Если вы спрашиваете моего совета, – сказала она, помолвившись и открывая лицо, – то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка? Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, я не колеблясь не советую, и, если вы разрешаете мне, я напишу к ней.

И Алексей Александрович согласился, и графиня Лидия Ивановна написала следующее французское письмо:

«Милостивая Государыня,

Воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу Всевышнего о милосердии к вам.

Графиня Лидия».

Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну.

С своей стороны, Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которое он чувствовал прежде.

Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которою он был так свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его; но он не был спокоен: он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминание о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности (то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль), как раскаяние, мучало его. Также мучало его воспоминание о письме, которое он написал ей; в особенности его прощение, никому ненужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием.

И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая всё свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение.

«Но в чем же я виноват?» говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос – о том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские... эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, не сомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет не для здешней временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь. Но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучало его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить.

XXVI.

– Ну что, Капитоныч? – сказал Сережа, румяный и веселый возвратившись с гулянья накануне дня своего рождения и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленького человека с высоты своего роста, старому швейцару. – Что, был сегодня подвязанный чиновник? Принял папа?

– Приняли. Только правитель вышли, я и доложил, – весело подмигнув, сказал швейцар. – Пожалуйте, я сниму.

– Сережа! – сказал славянин-гувернер, остановясь в дверях, ведших во внутренние комнаты. – Сами снимите.

Но Сережа, хотя и слышал слабый голос гувернера, не обратил на него внимания. Он стоял, держась рукой за перевязь швейцара, и смотрел ему в лицо.

– Что ж, и сделал для него папа, что надо?

Швейцар утвердительно кивнул головой.

Подвязанный чиновник, ходивший уже семь раз о чем-то просить Алексея Александровича, интересовал и Сережу и швейцара. Сережа застал его раз в сенях и слышал, как он жалостно просил швейцара доложить о себе, говоря, что ему с детьми умирать приходится.

С тех пор Сережа, другой раз встретив чиновника в сенях, заинтересовался им.

– Что ж, очень рад был? – спрашивал он.

– Как же не рад! Чуть не прыгает пошел отсюда.

– А что-нибудь принесли? – спросил Сережа, помолчав.

– Ну, сударь, – покачивая головой, шопотом сказал швейцар, – есть от графини.

Сережа тотчас понял, что то, о чем говорил швейцар, был подарок от графини Лидии Ивановны к его рождению.

– Что ты говоришь? Где?

– К папе Корней внес. Должно, хороша штучка!

– Как велико? Этак будет?

– Поменьше, да хороша.

– Книжка?

– Нет, штука. Идите, идите, Василий Лукич зовет, – сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку в до-половины снятой перчатке, державшую его за перевязь, и подмигивая головой на Вунича.

– Василий Лукич, сию минуточку! – отвечал Сережа с тою веселою и любящею улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича.

Серее было слишком весело, слишком всё было счастливо, чтоб он мог не поделиться со своим другом швейцаром еще семейною радостью, про которую он узнал на гулянье в Летнем Саду от племянницы графини Лидии Ивановны. Радость эта особенно важна казалась ему по совпадению с радостью чиновника и своей радостью о том, что принесли игрушки. Серее казалось, что нынче такой день, в который все должны быть рады и веселы.

– Ты знаешь, папа получил Александра Невского?

– Как не знать! Уж приезжали поздравлять.

– Что ж, он рад?

– Как Царской милости не радоваться! Значит, заслужил, – сказал швейцар строго и серьезно.

Серее задумался, вглядываясь в изученное до малейших подробностей лицо швейцара, в особенности в подбородок, висевший между седыми бакенбардами, который никто не видал, кроме Серее, смотревшего на него всегда не иначе, как снизу.

– Ну, а твоя дочь давно была у тебя?

Дочь швейцара была балетная танцовщица.

– Когда же ходить по будням? У них тоже ученье. И вам ученье, сударь, идите.

Придя в комнату, Серее, вместо того чтобы сесть за уроки, рассказал учителю свое предположение о том, что то, что принесли, должно быть машина. – Как вы думаете? – спросил он.

Но Василий Лукич думал только о том, что надо учить урок грамматики для учителя, который придет в два часа.

– Нет, вы мне только скажите, Василий Лукич, – спросил он вдруг, уже сидя за рабочим столом и держа в руках книгу, – что больше Александра Невского? Вы знаете, папа получил Александра Невского?

Василий Лукич отвечал, что больше Александра Невского есть Владимир.

– А выше?

– А выше всего Андрей Первозванный.

– А выше еще Андрея?

– Я не знаю.

– Как, и вы не знаете? – и Серее, облокотившись на руки, углубился в размышления.

Размышления его были самые сложные и разнообразные. Он соображал о том, как отец его получит вдруг и Владимира и Андрея, и как он вследствие этого нынче на уроке будет гораздо добрее, и как он сам, когда будет большой, получит все ордена и то, что выдумают выше Андрея. Только что выдумают, а он заслужит. Они еще выше выдумают, а он сейчас и заслужит.

В таких размышлениях прошло время, и, когда учитель пришел, урок об обстоятельствах времени и места и образа действия был не готов, и учитель был не только недоволен, но и огорчен. Это огорчение учителя тронуло Серее. Он чувствовал себя невиноватым за то, что не выучил урока; но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать: покуда учитель толковал ему, он верил и как будто понимал, но, как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово «вдруг» есть *обстоятельство образа действия*. Но всё-таки ему жалко было то, что он огорчил учителя, и хотелось утешить его.

Он выбрал минуту, когда учитель молча смотрел в книгу.

– Михаил Иваныч, когда бывают ваши именины? – спросил он вдруг.

– Вы бы лучше думали о своей работе, а именины никакого значения не имеют для разумного существа. Такой же день, как и другие, в которые надо работать.

Серее внимательно посмотрел на учителя, на его редкую бородку, на очки, которые спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не слышал из того,

что ему объяснял учитель. Он понимал, что учитель не думает того, что говорит, он это чувствовал по тону, которым это было сказано. «Но для чего они все сговорились это говорить всё одним манером, всё самое скучное и ненужное? Зачем он отталкивает меня от себя, за что он не любит меня?» спрашивал он себя с грустью и не мог придумать ответа.

XXVII.

После учителя был урок отца. Пока отец не приходил, Сережа сел к столу, играя ножичком, и стал думать. В числе любимых занятий Сережи было отыскивание своей матери во время гулянья. Он не верил в смерть вообще и в особенности в ее смерть, несмотря на то, что Лидия Ивановна сказала ему и отец подтвердил это, и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина полная, грациозная, с темными волосами была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался, и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Всё лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо, как он раз вечером лег ей в ноги и она щекотала его, а он хохотал и кусал ее белую с кольцами руку. Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лидией Ивановной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая (чему он уже никак не мог верить, потому что любил ее), он точно так же отыскивал и ждал ее. Нынче в Летнем Саду была одна дама в лиловом вуале, за которой он с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил, в то время как она подходила к ним по дорожке. Дама эта не дошла до них и куда-то скрылась. Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал приливы любви к ней и теперь, забывшись, ожидая отца, изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя пред собой и думая о ней.

– Папа идет! – развлек его Василий Лукич.

Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского.

– Ты гулял хорошо? – сказал Алексей Александрович, садясь на свое кресло, придвигая к себе книгу Ветхого Завета и открывая ее. Несмотря на то, что Алексей Александрович не раз говорил Сереже, что всякий христианин должен твердо знать священную историю, он сам в Ветхом Завете часто справлялся с книгой, и Сережа заметил это.

– Да, очень весело было, папа, – сказал Сережа, садясь боком на стуле и качая его, что было запрещено. – Я видел Наденьку (Наденька была воспитывавшаяся у Лидии Ивановны ее племянница). Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа?

– Во-первых, не качайся, пожалуйста, – сказал Алексей Александрович. – А во вторых, дорога не награда, а труд. И я желал бы, чтобы ты понимал это. Вот если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься (говорил Алексей Александрович, вспоминая, как он поддерживал себя сознанием долга при скучном труде нынешнего утра, состоявшем в подписании ста восемнадцати бумаг), любя труд, ты в нем найдешь для себя награду.

Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним – так чувствовал Сережа – как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком.

– Ты понимаешь это, я надеюсь? – сказал отец.

– Да, папа, – отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком.

Урок состоял в выучивании наизусть нескольких стихов из Евангелия и повторении начала Ветхого Завета. Стихи из Евангелия Сережа знал порядочно, но в ту минуту как он говорил их, он загляделся на кость лба отца, которая загибалась так круто у виска, что он запутался и конец одного стиха на одинаковом слове переставил к началу другого. Для Алексея Александровича было очевидно, что он не понимал того, что говорил, и это раздражило его.

Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно понимал – в роде того, что «вдруг» есть обстоятельство образа действия. Сережа испуганным взглядом смотрел на отца и думал только об одном: заставит или нет отец повторить то, что он сказал, как это иногда бывало. И эта мысль так пугала Сережу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешел к уроку из Ветхого Завета. Сережа рассказал хорошо самые события, но, когда надо было отвечать на вопросы о том, что прообразовали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок. Место же, где он уже ничего не мог сказать и мялся, и резал стол, и качался на стуле, было то, где ему надо было сказать о допотопных патриархах. Из них он никого не знал, кроме Еноха, взятого живым на небо. Прежде он помнил имена, но теперь забыл совсем, в особенности потому, что Енох был любимое его лицо изо всего Ветхого Завета, и ко взятию Еноха живым на небо в голове его привязывался целый длинный ход мысли, которому он и предался теперь, остановившимися глазами глядя на цепочку часов отца и до половины застегнутую пуговицу жилета.

В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что все умрут; он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это; няня тоже говорила, хотя и неохотно. Но Енох не умер, стало быть, не все умирают. «И почему же и всякий не может так же заслужить пред Богом и быть взят живым на небо?» думал Сережа. Дурные, то есть те, которых Сережа не любил, те могли умереть, но хорошие все могут быть как Енох.

– Ну, так какие же патриархи?

– Енох, Енос.

– Да уж это ты говорил. Дурно, Сережа, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина, – сказал отец вставая, – то что же может занимать тебя? Я недоволен тобой, и Петр Игнатьич (это был главный педагог) недоволен тобой... Я должен наказывать тебя.

Отец и педагог были оба недовольны Сережей, и действительно он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, чтоб он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Сереже. С точки зрения отца, он не хотел учиться тому, чему его учили. В сущности же он не мог этому учиться. Он не мог потому, что в душе его были требования более для него обязательные, чем те, которые заявляли отец и педагог. Эти требования были в противоречии, и он прямо боролся с своими воспитателями.

Ему было девять лет, он был ребенок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жадой познания. И он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василия Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отец и педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте.

Отец наказал Сережу, не пустив его к Наденьке, племяннице Лидии Ивановны; но это наказание оказалось к счастью для Сережи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошел за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться: схватиться руками за крылья или привязать себя – и вертеться. О матери Сережа не думал весь вечер, но, уложившись в постель, он вдруг

вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мать его завтра, к его рождению, перестала скрываться и пришла к нему.

– Василий Лукич, знаете, о чем я лишнее не в счет помолился?

– Чтоб учиться лучше?

– Нет.

– Игрушки?

– Нет. Не угадаете. Отличное, но секрет! Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали?

– Нет, я не угадаю. Вы скажите, – сказал Василий Лукич улыбаясь, что с ним редко бывало. – Ну, ложитесь, я тушу свечку.

– А мне без свечки виднее то, что я вижу и о чем я молился. Вот чуть было не сказал секрет! – весело засмеявшись, сказал Сережа.

Когда унесли свечу, Сережа слышал и чувствовал свою мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом. Но явились мельницы, ножик, всё смешалось, и он заснул.

XXVIII.

Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. Вронский отдельно, в нижнем этаже, Анна наверху с ребенком, кормилицей и девушкой, в большом отделении, состоящем из четырех комнат.

В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно; они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же, на другой день приехав утром к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак; что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такою же своею женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене.

– Если свет не одобряет этого, то мне всё равно, – сказал Вронский, – но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моею женой.

Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал хорошенько, прав ли он или нет, до тех пор, пока свет не решил этого вопроса; сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне.

Вронский при брате говорил, как и при всех, Анне *вы* и обращался с нею как с близкою знакомой, но было подразумевая, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского.

Несмотря на всю свою светскую опытность, Вронский, вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной; но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину, а что теперь, при быстром прогрессе (он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса), что теперь взгляд общества изменился и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен. «Разумеется, – думал он, – свет придворный не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует».

Можно просидеть несколько часов, поджав ноги в одном и том же положении, если знаешь, что ничто не помешает переменить положение; но если человек знает, что он должен сидеть так с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Эго самое испытывал Вронский относительно света. Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их. Но он очень скоро заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был

закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной.

Одна из первых дам Петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетси.

– Наконец! – радостно встретила она его. – А Анна? Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург; я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что развод? Всё это сделали?

Вронский заметил, что восхищение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было.

– В меня кинут камень, я знаю, – сказала она, – но я приеду к Анне; да, я непременно приеду. Вы не долго пробудете здесь?

И действительно, она в тот же день приехала к Анне; но тон ее был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях, и при отъезде сказала:

– Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. *Ça se fait.*⁹ Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся.

По тону Бетси Вронский мог бы понять, чего ему надо ждать от света; но он сделал еще попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что мать, так восхищавшаяся Анной во время своего первого знакомства, теперь была неумолима к ней за то, что она была причиной расстройств карьеры сына. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее.

На другой же день по своем приезде Вронский поехал к ней и, застав одну, прямо высказал свое желание.

– Ты знаешь, Алексей, – сказала она, выслушав его, – как я люблю тебя и как готова всё для тебя сделать; но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезною, – сказала она, особенно старательно выговорив «Анна Аркадьевна». – Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда; может быть, я на ее месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности, – говорила она, робко взглядывая на его мрачное лицо. – Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы ее в обществе; но ты пойми, что я *не могу* этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа. Ну, я приеду к Анне Аркадьевне; она поймет, что я не могу ее звать к себе или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе: это ее же оскорбит. Я не могу поднять ее...

– Да я не считаю, чтоб она упала более, чем сотни женщин, которых вы принимаете! – еще мрачнее перебил ее Вронский и молча встал, поняв, что решение невестки неизменно.

– Алексей! Не сердись на меня. Пожалуйста, пойми, что я не виновата, – заговорила Варя, с робкою улыбкой глядя на него.

– Я не сержусь на тебя, – сказал он так же мрачно, – но мне больно вдвойне. Мне больно еще то, что это разрывает нашу дружбу. Положим, не разрывает, но ослабляет. Ты понимаешь, что и для меня это не может быть иначе.

И с этим он вышел от нее.

Вронский понял, что дальнейшие попытки тщетны и что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям, которые были так мучительны для него. Одна

⁹ [Это обычно.]

из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович и его имя, казалось, были везде. Нельзя было ни о чем начать говорить, чтобы разговор не свернулся на Алексея Александровича; никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так по крайней мере казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо всё задевает этим самым больным пальцем.

Пребывание в Петербурге казалось Вронскому еще тем тяжелее, что всё это время он видел в Анне какое-то новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чем-то мучалась и что-то скрывала от него и как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь и для нее, с ее тонкостью понимания, должны были быть еще мучительнее.

XXIX.

Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось естественно и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе; но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно.

Она уж два дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношения с мужем ей было мучительно и подумать: она могла быть спокойна, только когда не думала о муже. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало: она так готовилась к этому свиданию, ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережи могла помочь ей и научить ее. Но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разыскиваньях няни прошло два дня.

Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Ивановне, Анна на третий день решила написать ей стоившее ей большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Она знала, что, если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей.

Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ею ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженной, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дождался и как потом ему сказали: «ответа никакого не будет». Анна чувствовала себя униженной, оскорбленной, но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самой неважной вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страдания; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него всё, что касалось сына.

Просидев дома целый день, она придумывала средства для свиданья с сыном и остановилась на решении написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее, но письмо, всё то, что она прочла между его строками, так раздражило ее, так ей возмутительно показалась эта злоба в сравнении с ее страстной законною нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя.

«Эта холодность – притворство чувства, – говорила она себе. – Им нужно только оскорбить меня и измучать ребенка, а я стану покоряться им! Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу по крайней мере». И тут же она решила, что завтра же, в самый день рождения Сережи, она поедет прямо в дом мужа, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка.

Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в 8 часов, когда Алексей Александрович еще, верно, не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею, с тем чтоб они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати сына. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать.

На другой день, в 8 часов утра, Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома.

– Поди посмотри, чего надо. Какая-то барыня, – сказал Капитоныч, еще не одетый, в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери.

Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой мальчик, только что отворил ей дверь, как она уже вошла в нее и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку.

– Сережа... Сергей Алексеич, – проговорила она и пошла было вперед. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери.

– Вам кого надо? – спросил он.

Она не слышала его слов и ничего не отвечала.

Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно.

– От князя Скородумова к Сергею Алексеичу, – проговорила она.

– Они не встали еще, – внимательно приглядываясь, сказал швейцар.

Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся, обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим, воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь.

– Подождать изволите? – сказал Капитоныч, снимая с нее шубку.

Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей.

– Пожалуйте, ваше превосходительство, – сказал он ей.

Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки; с виноватою мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее.

– Учитель там, может, не одет. Я доложу.

Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик.

– Сюда, налево пожалуйста. Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной, – отпыхиваясь говорил швейцар. – Позвольте, повремените, ваше превосходительство, я загляну, – говорил он и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась ожидая. – Только проснулись, – сказал швейцар, опять выходя из двери.

И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услышала звук детского зеванья. По одному голосу этого зеванья она узнала сына и как живого увидела его пред собою.

– Пусти, пусти, поди! – заговорила она и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вме-

сте, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этою улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад.

– Сережа! – прошептала она, неслышно подходя к нему.

Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала всё это последнее время, она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его; он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это! Как худо его лицо, как коротки его волосы! Как длинны руки! Как изменился он с тех пор, как она оставила его! Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкой шейкой и широкими плечиками.

– Сережа! – повторила она над самым ухом ребенка.

Он поднялся опять на локоть, поводит спутанною головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам.

– Сережа! Мальчик мой милый! – проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.

– Мама! – проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук.

Сонно улыбаясь, всё с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи.

– Я знал, – открывая глаза, сказал он. – Нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.

И, говоря это, он засыпал.

Анна жадно оглядывала его; она видела, как он вырос и переменялся в ее отсутствие. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные, короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ощупывала всё это и не могла ничего говорить; слезы душили ее.

– О чем же ты плачешь, мама? – сказал он, совершенно проснувшись. – Мама, о чем ты плачешь? – прокричал он плаксивым голосом.

– Я? не буду плакать... Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду, – сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. – Ну, тебе одеваться теперь пора, – оправившись, прибавила она, помолчав и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье.

– Как ты одеваешься без меня? Как... – хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась.

– Я не моюсь холодной водой, папа не велел. А Василия Лукича ты не видела? Он придет. А ты села на мое платье!

И Сережа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась.

– Мама, душечка, голубушка! – закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь только, увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. – Это не надо, – говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее.

– Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?

– Никогда не верил.

– Не верил, друг мой?

– Я знал, я знал! – повторял он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.

XXX.

Василий Лукич между тем, не понимавший сначала, кто была эта дама, и узнав из разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему или нет, или сообщить Алексею Александровичу. Сообразив наконец то, что его обязанность состоит в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее.

Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, – всё это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще десять минут», сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы.

Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что Капитоныч пустил ее, и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна и что надо помешать ей. Корней, камердинер, сойдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и, узнав, что Капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, Капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил:

– Да, вот ты бы не впустил! Десять лет служил да кроме милости ничего не видал, да ты бы пошел теперь да и сказал: пожалуйста, мол, вон! Ты политику-то тонко понимаешь! Так-то! Ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать!

– Солдат! – презрительно сказал Корней и повернулся ко входившей няне. – Вот судите, Марья Ефимовна: впустил, никому не сказал, – обратился к ней Корней. – Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую.

– Дела, дела! – говорила няня. – Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барина-то, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела!

Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покотившись с горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо и игру выражения, ощущала его руку, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить, надо было оставить его, – только одно это и думала и чувствовала она. Она слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери и кашлявшего, слышала и шаги подходившей няни; но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать.

– Барыня, голубушка! – заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи. – Вот Бог привел радость нашему новорожденному. Ничего-то вы не переменились.

– Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме, – на минуту очнувшись, сказала Анна.

– Я не живу, я с дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!

Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку.

Сережа, сияя глазами и улыбкой и держась одною рукой за мать, другою за няню, топтал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение.

– Мама! Она часто ходит ко мне, и когда придет... – начал было он, но остановился, заметив, что няня шопотом что-то сказала матери и что на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд, что так не шло к матери.

Она подошла к нему.

– Милый мой! – сказала она.

Она не могла сказать *прощай*, но выражение ее лица сказало это, и он понял. – Милый, милый Кутик! – проговорила она имя, которым звала его маленьким, – ты не забудешь меня? Ты... – но больше она не могла говорить.

Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Но Сережа понял всё, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шопотом говорила няня. Он слышал слова: «всегда в девятом часу», и он понял, что это говорилось про отца и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал, но одного он не мог понять: почему на ее лице показались испуг и стыд?.. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он хотел сделать вопрос, который разъяснил бы ему это сомнение, но не смел этого сделать: он видел, что она страдает, и ему было жаль ее. Он молча прижался к ней и шопотом сказал:

– Еще не уходи. Он не скоро придет.

Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал ее, как ему надо об отце думать.

– Сережа, друг мой, – сказала она, – люби его, он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.

– Лучше тебя нет!.. – с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками.

– Душечка, маленький мой! – проговорила Анна и заплакала так же слабо, по-детски, как плакал он.

В это время дверь отворилась, вошел Василий Лукич. У другой двери слышались шаги, и няня испуганным шопотом сказала «идет» и подала шляпу Анне.

Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову.

Несмотря на то, что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты.

Она не успела и вынуть и так и привезла домой те игрушки, которые она с такою любовью и грустью выбирала вчера в лавке.

XXXI.

Как ни сильно желала Анна свиданья с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтоб это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. «Да, всё это кончено, и я опять одна», сказала она себе и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать.

Девушка-Француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала:

– После.

Лакей предложил кофе.

– После, – сказала она.

Кормилица-Итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями книзу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по накрахмаленным складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку, нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом; нельзя было не подставить ей губу, которую она,

в виде поцелуя, забрала в ротик. И всё это сделала Анна, и взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки; но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Всё в этой девочке было мило, но всё это почему-то не забирало за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения; девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке всё было еще ожидания, а Сережа был уже почти человек, и любимый человек; в нем уже боролись мысли, чувства; он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было.

Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, вынув карточку, бывшую рядом (это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длинными волосами), ею вытолкнула карточку сына. «Да, вот он!» сказала она, взглянув на карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем всё это утро. Но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему.

«Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями?» вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него всё, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же; с замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему всё, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет, и приказал спросить ее, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня, – подумала она; – не так придет, чтоб я могла всё высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль: что, если он разлюбил ее?

И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли: и то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтоб они в Петербурге остановились врознь, и то, что даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свиданья с глазу на глаз.

«Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю», говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее, она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденною. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней.

Она услышала звонок прежде, чем была готова.

Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил ее взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее.

– Мы знакомы, – сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося (что так странно было при его громадном росте и грубом лице) Яшвина. – Знакомы с

прошлого года, на скачках. Дайте, – сказала она, быстрым движением отбирая от Вронского карточки сына, которые он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. – Нынешний год хороши были скачки? Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. Вы, впрочем, не любите заграничной жизни, – сказала она, ласково улыбаясь. – Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами.

– Это мне очень жалко, потому что мои вкусы всё больше дурные, – сказал Яшвин, закусывая свой левый ус.

Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи.

– Кажется, недолго, – сказала она с замешательством, взглянув на Вронского.

– Так и не увидимся больше? – сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. – Где ты обедаешь?

– Приезжайте обедать ко мне, – решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснея, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. – Обед здесь не хорош, но, по крайней мере, вы увидите с ним. Алексей изо всех полковых товарищей никого так не любит, как вас.

– Очень рад, – сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему.

Яшвин раскланялся и вышел, Вронский остался позади.

– Ты тоже едешь? – сказал она ему.

– Я уже опоздал, – отвечал он. – Иди! Я сейчас догоню тебя, – крикнул он Яшвину.

Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, что бы сказать, чтоб удержать его.

– Постой, мне кое-что надо сказать, – и, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. – Да, ничего, что я позвала его обедать?

– Прекрасно сделала, – сказал он со спокойною улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку.

– Алексей, ты не изменился ко мне? – сказала она, обеими руками сжимая его руку. – Алексей, я измучалась здесь. Когда мы уедем?

– Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, – сказал он и потянул свою руку.

– Ну, иди, иди! – с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.

XXXII.

Когда Вронский вернулся домой, Анны не было еще дома. Вскоре после него, как ему сказали, к ней приехала какая-то дама, и она с нею вместе уехала. То, что она уехала, не сказав куда, то, что ее до сих пор не было, то, что она утром еще ездила куда-то, ничего не сказав ему, – всё это, вместе со странно возбужденным выражением ее лица нынче утром и с воспоминанием того враждебного тона, с которым она при Яшвине почти вырвала из его рук карточки сына, заставило его задуматься. Он решил, что необходимо объясниться с ней. И он ждал ее в ее гостиной. Но Анна вернулась не одна, а привезла с собой свою тетку, старую деву, княжну Облонскую. Это была та самая, которая приезжала утром и с которою Анна ездила за покупками. Анна как будто не замечала выражения лица Вронского, озабоченного и вопросительного, и весело рассказывала ему, что она купила нынче утром. Он видел, что в ней происходило что-то особенное: в блестящих глазах, когда они мельком останавливались на нем, было напряженное внимание, и в речи и движениях была та нервная быстрота и грация, которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь тревожили и пугали.

Обед был накрыт на четырех. Все уже собрались, чтобы выйти в маленькую столовую, как приехал Тушкевич с поручением к Анне от княгини Бетси. Княгиня Бетси просила извинить, что она не приехала проститься; она нездорова, но просила Анну приехать к ней между половиной седьмого и девятью часами. Вронский взглянул на Анну при этом определении времени, показывавшем, что были приняты меры, чтоб она никого не встретила; но Анна как будто не заметила этого.

– Очень жалко, что я именно не могу между половиной седьмого и девятью, – сказала она, чуть улыбаясь.

– Княгиня очень будет жалеть.

– И я тоже.

– Вы, верно, едете слушать Патти? – сказал Тушкевич.

– Патти? Вы мне дадите мысль. Я поехала бы, если бы можно было достать ложу.

– Я могу достать, – вызвался Тушкевич.

– Я бы очень, очень была вам благодарна, – сказала Анна. – Да не хотите ли с нами обедать?

Вронский пожал чуть заметно плечами. Он решительно не понимал, что делала Анна. Зачем она привезла эту старую княжну, зачем оставляла обедать Тушкевича и, удивительнее всего, зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в ее положении ехать в абонемент Патти, где будет весь ей знакомый свет? Он серьезным взглядом посмотрел на нее, но она ответила ему тем же вызывающим, не то веселым, не то отчаянным взглядом, значение которого он не мог понять. За обедом Анна была наступательно весела: она как будто кокетничала и с Тушкевичем и с Яшвиным. Когда встали от обеда и Тушкевич поехал за ложей, а Яшвин пошел курить, Вронский сошел вместе с ним к себе. Посидев несколько времени, он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытою грудью, и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим ее лицо и особенно выгодно выставлявшим ее яркую красоту.

– Вы точно поедете в театр? – сказал он, стараясь не смотреть на нее.

– Отчего же вы так испуганно спрашиваете? – вновь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она. – Отчего же мне не ехать?

Она как будто не понимала значения его слов.

– Разумеется, нет никакой причины, – нахмурившись сказал он.

– Вот это самое я и говорю, – сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку.

– Анна, ради Бога! что с вами? – сказал он, будя ее, точно так же, как говорил ей когда-то ее муж.

– Я не понимаю, о чем вы спрашиваете.

– Вы знаете, что нельзя ехать.

– Отчего? Я поеду не одна. Княжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной.

Он пожал плечами с видом недоумения и отчаяния.

– Но разве вы не знаете... – начал было он.

– Да я не хочу знать! – почти вскрикнула она. – Не хочу. Раскаиваюсь я в том, что сделала? Нет, нет и нет. И если б опять то же, сначала, то было бы то же. Для нас, для меня и для вас, важно только одно: любим ли мы друг друга. А других нет соображений. Для чего мы живем здесь врозь и не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю, и мне всё равно, – сказала она по-русски, с особенным, непонятным ему блеском глаз взглянув на него, – если ты не изменился. Отчего ты не смотришь на меня?

Он посмотрел на нее. Он видел всю красоту ее лица и наряда, всегда так шедшего к ней. Но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало его.

– Чувство мое не может измениться, вы знаете, но я прошу не ездить, умоляю вас, – сказал он опять по-французски с нежною мольбой в голосе, но с холодностью во взгляде.

Она не слышала слов, но видела холодность взгляда и с раздражением отвечала:

– А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать.

– Потому, что это может причинить вам то... – Он замялся.

– Ничего не понимаю. Яшвин n'est pas compromettant¹⁰ и княжна Варвара ничем не хуже других. А вот и она.

XXXIII.

Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения. Чувство это усиливалось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Если б он сказал ей прямо то, что он думал, то он сказал бы: «в этом наряде, с известной всем княжной появиться в театре – значило не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, т. е. навсегда отречься от него».

Он не мог сказать ей это. «Но как она может не понимать этого, и что в ней делается?» говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то же время уважение его к ней уменьшалось и увеличивалось сознание ее красоты.

Нахмуренный вернулся он в свой номер и, подсев к Яшвину, вытянувшему свои длинные ноги на стул и пившему коньяк с сельтерской водой, велел себе подать того же.

– Ты говоришь Могучий Ланковского. Это лошадь хорошая, и я советую тебе купить, – сказал Яшвин, взглянув на мрачное лицо товарища. – У него вислозадина, но ноги и голова – желать лучше нельзя.

– Я думаю, что возьму, – отвечал Вронский.

Разговор о лошадях занимал его, но ни на минуту он не забывал Анны, невольно прислушивался к звукам шагов по коридору и поглядывал на часы на камине.

– Анна Аркадьевна приказала доложить, что они поехали в театр.

Яшвин, опрокинув еще рюмку коньяку в шипящую воду, выпил и встал, застегиваясь.

– Что ж? поедем, – сказал он, чуть улыбаясь под усами и показывая этою улыбкой, что понимает причину мрачности Вронского, но не придает ей значения.

– Я не поеду, – мрачно отвечал Вронский.

– А мне надо, я обещал. Ну, до свиданья. А то приезжай в кресла, Красинского кресло возьми, – прибавил Яшвин, выходя.

– Нет, мне дело есть.

«С женою забота, с не-женою еще хуже», подумал Яшвин, выходя из гостиницы.

Вронский, оставшись один, встал со стула и принялся ходить по комнате.

«Да нынче что? Четвертый абонемент... Егор с женою там и мать, вероятно. Это значит – весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Яшвин, княжна Варвара... – представлял он себе – Что ж я-то? Или я боюсь или передал покровительство над ней Тушкевичу? Как ни смотри – глупо, глупо... И зачем она ставит меня в это положение?» сказал он, махнув рукой.

Этим движением он зацепил столик, на котором стояла сельтерская вода и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил и с досады толкнул ногой стол и позвонил.

– Если ты хочешь служить у меня, – сказал он вошедшему камердинеру, – то ты помни свое дело. Чтоб этого не было. Ты должен убрать.

¹⁰ [не может компрометировать,]

Камердинер, чувствуя себя невиноватым, хотел оправдываться, но, взглянув на барина, понял по его лицу, что надо только молчать и, поспешно извиваясь, опустился на ковер и стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки.

– Это не твое дело, пошли лакея убирать и приготовь мне фрак.

Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «ваше сиятельство» и предложил ему не брать нумерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме капельдинера и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. Из-за притворенной двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прощмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплесканий из-за двери, что каданс кончился. Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался. На сцене певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты и подходила к господину с рядом по середине блестящих помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какой-то вещью, – и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и опраправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее, чем когда-нибудь, обратил он внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на всё это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре.

Те же, как всегда, были по ложам какие-то дамы с какими-то офицерами в задах лож; те же, Бог знает кто, разноцветные женщины, и мундиры, и сюртуки; та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе, в ложах и в первых рядах, были человек сорок *настоящих* мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание и с ними тотчас же вошел в сношение.

Акт кончился, когда он вошел, и потому он, не заходя в ложу брата, прошел до первого ряда и остановился у рампы с Серпуховским, который, согнув колено и постукивая каблуком в рампу и издали увидав его, подзвал к себе улыбкой.

Вронский еще не видал Анны, он нарочно не смотрел в ее сторону. Но он знал по направлению взглядов, где она. Он незаметно оглядывался, но не искал ее; ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Алексея Александровича нынешний раз не было в театре.

– Как в тебе мало осталось военного! – сказал ему Серпуховской. – Дипломат, артист, вот этакое что-то.

– Да, я как домой вернулся, так надел фрак, – отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.